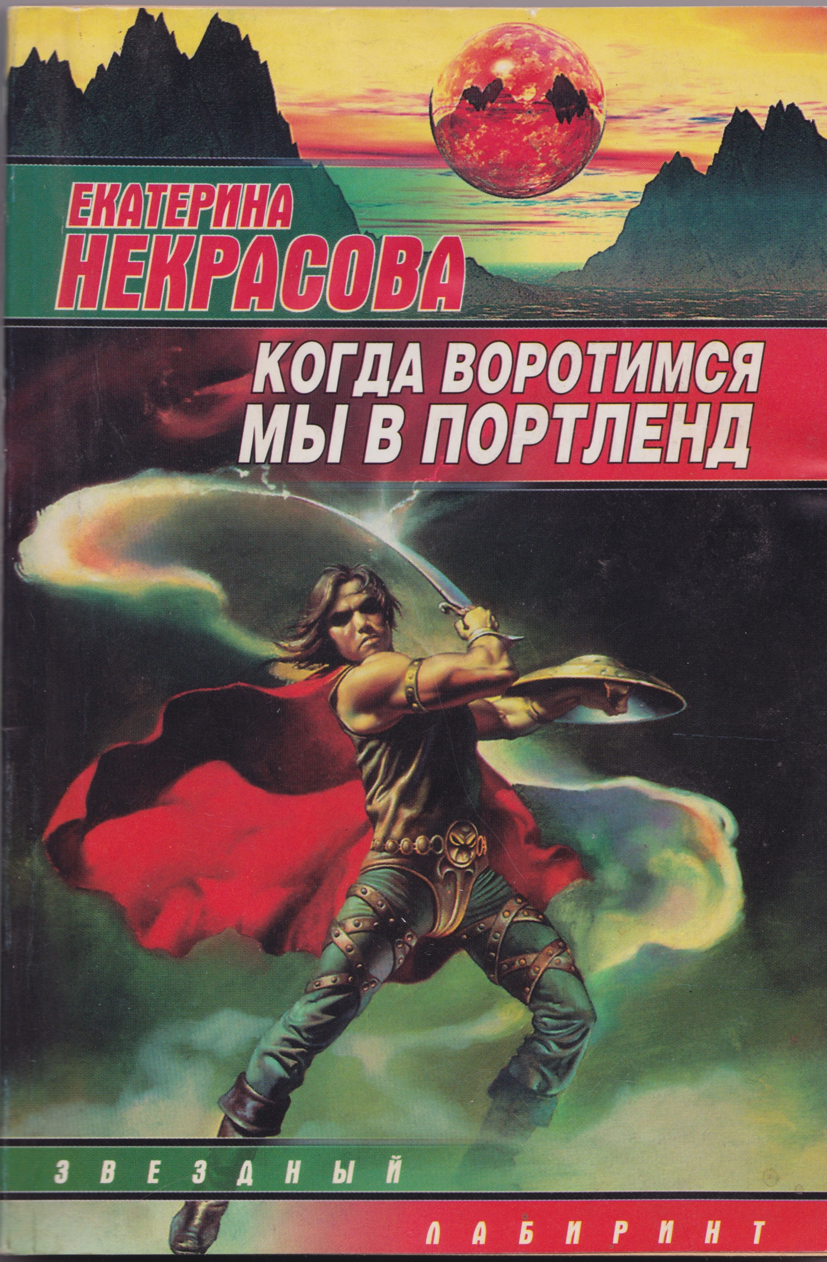
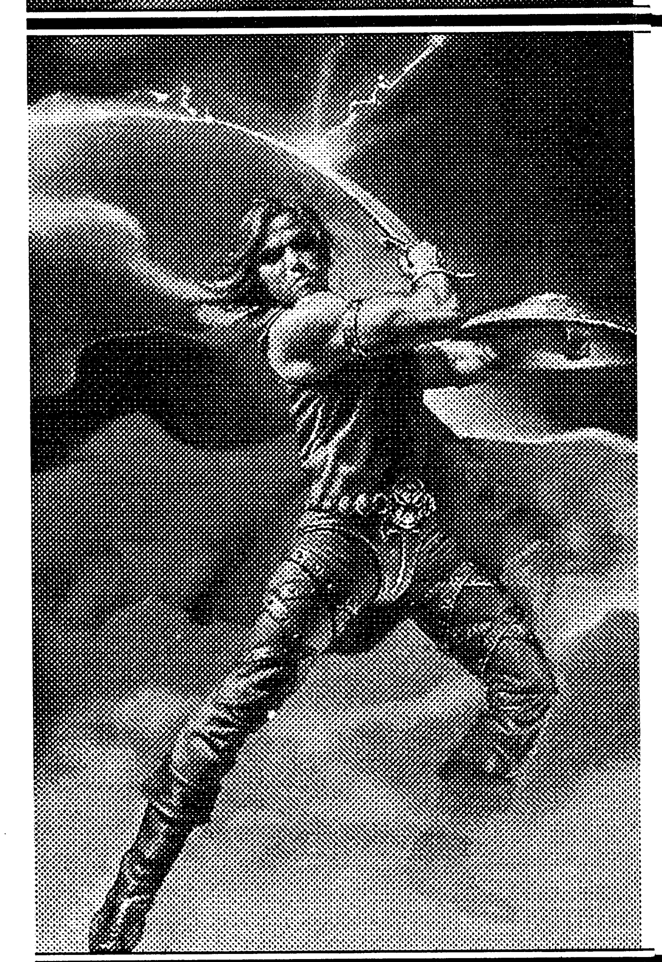

Екатерина
Некрасова
Когда воротимся
мы в Портленд
Звездный
лабиринт

З В Е З Д Н Ы Й



Л А Б И Р И Н Т



ЛАБИРИНТ

ЗВЕЗДНЫЙ

ЕКАТЕРИНА
НЕКРАСОВА

КОГДА ВОРОТИМСЯ МЫ В ПОРТЛЕНД

ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ • ЕРМАК

МОСКВА 2003

УДК 821.161.1-312.9
ББК 84 (2Рос=Рус)6-44
Н48

**Подписано в печать 23.04.03. Формат 70x90 $^{1}/_{32}$.
Усл. печ. л. 9,28. Тираж 7000 экз. Заказ № 1448.**

Некрасова Е.В.

Н48 Когда воротимся мы в Портленд: Сборник / Е.В. Некрасова. — М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. — 253, [3] с. — (Звездный лабиринт).

ISBN 5-17-006249-4

Екатерина Некрасова.

Единая в двух лицах.

Молодой и талантливый автор не просто классического, но КЛАССИЦИСТИЧЕСКОГО романа-катастрофы «Богиня бед» — и культовая «Сефирот» российской Интернет-прозы, «взорвавшая» сеть жестким, скандальным антиутопическим «пастишем» «Notre Dame de Amoi»…

Перед вами — книга, в которой Некрасова «сводит воедино» две свои ипостаси.

Альтернативная история?

Историческая фэнтези?

Просто — сильная, резкая фантастика?

Прочитайте — и подумайте сами!

УДК 821.161.1-312.9
ББК 84 (2Рос=Рус) 6-44

КОГДА ВОРОТИМСЯ МЫ В ПОРТЛЕНД

Повесть о приключениях десантника в Древней Руси

Безвыходным мы называем положение, выход из которого нам не нравится.

Станислав Ежи Ленц
(в пересказе Михаила Веллера)

«Ах, любовь — это такая мука», — вздохнула обезьяна, обнимая ежа́.

Анекдот

Пролог

— Задавить, — предложил тиун, придвигаясь.

Склонившийся над люлькой отпихнул его, не глядя. Морщась от детского крику, влез бородой под холщовый положок. Дите заходилось, как чуя над собой беду — красное в натуге личико, рот разинут — беззубый, слюнявый... Глазенки — эва! — и зажмуренные понятны, прорезаны косо — в мать... Ручонки — крохотные, а человечьи...

— Без ума он, — тиун из-за плеча. — Девки переказывают — кажинную ночь ажник до петухов... эдак-то надрывается...

Скрипя, шаталась люлька — все искрутилось неразумное дите, выдираясь из пеленок. Стоявший над люлькой выпрямился — отошел, скребя в бороде. По полу сквозняком катало хлопья пыли; скрип половиц под шагами.

На лавке, где спать няньке, кинут мятый платок — красный. В окошках — притушенное слюдой солнце... Отодвинул засов, толкнул резные створки — вдунуло холодом, осенним духом сырости и тлена. Двор — в лужинах, в кочках сохлой травы. Под окошком на чурбачке сидел, поджав ноги в обмотках, гридень из стражи — скучал, опираясь о копье... И как ухитрилась полоумная ведьмачка не заметить рва с водой, куда сдернула ее нечистая сила?

Тиун метнулся, придержал запахивающуюся створку. Заискивающе косился на хозяина — а тот все молчал, морщился, крутя на палец длинный ус. «На матерю-от схож, эва как... Прижила, прости Господи, шалава... Игорь, брат... Братоубийцы (маялся, лез в бороду) мы два перед тобою... Каины... (Дергая ус.) Что ж, и Владимир Святой брата убил. И жену его взял на сносях... А эта и не жена была...»

— Игорь-княжич покойный... отец, стало быть, евоный... — махнул назад, откуда — кошачьим мявом крик. Тиун только моргал. — Что сказал князь Ярополк Олегович, мой другой брат?

Тиун, оставив створку, торопливо поклонился — в ноги.

— Князь сказал — как, батюшка, твоя воля.

Молчали. Солнце пятнало дубовый подоконник. Тонкие голые ветви берез — черная паутина на пронзительной осенней синеве. Под той вот березой, было время, втроем игрывали чада ножиками — в тычку...

— Уж дюже кляла тебя ехидна половецкая, — вкрадчиво начал тиун. — С жару, в беспамяти, переказывают, все по-своему, а как очунеется...

Хозяин отмахнулся. Вспоминал — забившуюся в угол кровати, обеими руками придерживая торчащий живот,

и из-под монет на лбу — дикий взгляд раскосых глаз... Кабы она хоть нравилась ему, не столь было б обидно. А то... так... С досадой ковырнул ногтем срез сучка в подоконнике. «Знатье б, что ей рехнуться... Сраму сколь теперича... Ить все знают! А теперича еще скажут — и дитя не пощадил...»

— Зарыть ее, — не оборачиваясь, заговорил наконец, — за кладбищем. Потому святой веры нашей так и не приняла, и померла без покаяния и во злобе. А... (Выдохнув, расстегнул медную пуговку ворота.) — Имя-то у него есть какое?

Тиун медлил — стоящий у оконца спиной чуял, как, угоняясь за сменой хозяйских желаний — вот решено, казалось, и вдруг, — суматошно тасуются мысли в седоватой, на пробор расчесанной холопьей голове.

— Ну?

— Рогволд, — шепотом отозвался тиун.

Хозяин обернулся. Сказал неприязненно:

— У нас в роду таких не было.

Под взглядом тиун попятился, разводя руками.

— Так... батюшка Всеволод Олегович... то она сама прозвала. Подсказать-то некому было... Слыхала гдей-то и решила — русское-де имя...

— Ты убил моего отца, — сказал узник — и, закашлявшись, сплюнул кровяной сгусток. — Ты убил мою мать.

— Твоя мать, — крикнул князь, свирепея, — упала в ров с водой! А время было уж к первому снегу. Ее вытащили, а она застудилась! Огневицей и...

В улыбке треснула корка на разбитых губах — показалась кровь. Передних зубов у узника не было.

— Ты ее с ума свел.

— От змееныш, — очень искренне сказал за княжьей спиной кто-то из бояр.

Чадило прибитое сквозняком пламя факелов. Дым копился под закопченными каменными сводами — в пыточной не было волокового оконца.

...Вывернутые, вздернутые вверх руки — на правой грязная, в кровяных пятнах тряпка. Лохматая веревка на запястьях. Выпяченные ребра над ввалившимся животом.

Князь шагнул вперед. За ребра и взял, с силой нажав большим пальцем на подвернувшийся кровоподтек.

— Где иноземец? Без дуростев, ну?!

Узник смотрел в глаза. В ненавистном лице вдруг проступило общее с полузабытыми чертами брата. Ребра под пальцами раздавались и опадали. Дыба поскрипывала. Привстав на носках, князь потянулся — не отводя взгляда, положил ладонь на сбившуюся повязку. И сжал изо всей силы.

Тело рванулось и забилось, выгибаясь. Босые ноги не доставали пола. Дурачок тщился сжимать зубы — и вместо крика выходил вой.

Помедлив — вытерпев, никакого удовольствия не испытывая, — князь разжал пальцы. Узник обвис, хватая ртом воздух. Лицо — бледное, как перед обмороком. Бисерно блестел мелкий пот.

— Ну? — повторил князь и снова занес руку.

Узник молчал, тяжело дыша, — и вдруг плюнул. Неумело — и, конечно, не доплюнул — розоватая слюна потекла по подбородку. Князь с размаху ударил его в лицо, куда-то между скулой и мокрыми губами — голова мотнулась. Князь брезгливо вытер руку об остатки шелковой рубахи — сперва костяшки пальцев, затем окровавленную ладонь. Отошел. Все смотрели на него. Слезящими про-

стужеными глазами — тощий Климята, ближайший; толстый Гремислав — выставив бороду; лицо стражника было равнодушно, а палач и вовсе что-то жевал и спохватился лишь под пристальным княжьим взглядом.

— Найдем, — сказал князь спокойно — обращаясь на деле к узнику, хоть стоял к нему спиной.

— Руки коротки, — громко сказал узник.

Князь круто обернулся. Узник улыбался. На миг княжья ярость обернулась изнеможением. «Ить что за люди... Ить вдарю — убью. Нешто не смыслит?» — «А ну как — того и добивается? Ему что терять?»

Отвернулся. Все молчали, только Климята шмыгнул — хрюкнул — заложенным носом. И князь некстати подумал, что давно нет верного Одинца, с кем когда-то решал он у оконца судьбу этого вот мальчишки. Одинец бы зарезал ублюдка сам. Да подушкой было накрыть, а...

И Ярополка нет.

— Пущай скажет, — подышав сквозь зубы, проговорил весомо. — Он знает, — и, не сдержавшись, топнул ногой.

Вовсе и не был так уверен — но какая разница?

Пригнувшись, нырнул в низенькую дверь. Придерживая плащ, поднимался винтовой лесенкой. Позади шаркал ногами стражник — сбоку услужливо подсовывал факел, освещая сбитые, в зеленых наростах плесени ступени. Даже вонь факела не могла перебить дух сырого камня.

В тесном лазу слышалось двойное пыхтение. А потом внизу закричали. Еще несколько шагов князь прошел, силясь не вслушиваться. Через плечо покосился на стражника — показывать слабость не хотелось. Но он все-таки выпустил плащ и заткнул уши.

1. Ежик в тумане

«...Бирцев Эдуард Сергеевич, двадцать три года. Служил в войсках ВДВ. Образование — одиннадцать классов (до армии) и курсы охранников (после армии). Интересы для такого образования минимум странные. Официально нигде не учится и не работает, но, по некоторым сведениям, причастен к перепродаже угнанных автомашин...»

Просвеченный рассветным солнцем туман висел над лугом. Они стояли уже по шею в тумане, а впереди слой его был еще выше — леса там даже не угадывалось.

— Эдик, — сказала Галка, — мне страшно.

Прошлое

— И чего вы там будете копать? — спросила она, помолчав.

В темном стекле отражалась освещенная комната. Галка сидела на диване, вытянув ноги в клетчатых — черно-красных — колготках.

Он пожал плечами.

— Село. Ну, не совсем село, конечно... В общем, тринадцатый век, незадолго до монголо-татарского нашествия. У меня бывший одноклассник в универе на истфаке, вот и...

— Зачем тебе это надо? — лениво спросила она. — Ты же не историк.

— Мне интересно, — очень спокойно ответил он, садясь на журнальный столик.

Настоящее

...Он видел ее профиль на фоне тумана — алую щетинку волос, выпуклый лоб, густо-густо, иссиня-серым затененный глаз. Его свитер был ей велик; обнимая ее свободной рукой, он вспомнил, какими холодными, влажными и пупырчатыми были ее плечи, когда он заставил ее этот свитер надеть.

Мокрая трава хлестала по ногам. Он остановился, отдал Галке сумку и подтянул закатанные штанины еще повыше. Галка следила за ним, прижимая сумку к груди, сосредоточенно сдвинув брови — высокие, тонкие, больше нарисованные, чем настоящие.

— Эдик, — позвала она жалобно. — Долго нам еще?

— Скоро, — ответил он, не решаясь при ней взглянуть на часы. Притворяясь зевающим, прикрыл рот ладонью и, стискивая зубы, чтобы не стучали, попробовал исподтишка размять онемевшие щеки. У него сводило челюсти.

...Что я ей скажу? Что, по моим расчетам, тут и идти-то было минут двадцать, а мы уже почти час бродим? «А насколько верны твои расчеты?» — «Да я, по правде говоря, тут и ходил всего раз...» Когда мы шли с Витькой, все показалось таким простым. Зачем зря

переться крюком вдоль дороги, если можно спокойно пройти напрямик? Да... Но и без Витьки — блин, ну где тут заблудиться? Луг перейти... Так, если бы в лес зашли — поняли бы. Давно бы уже сучком в глаз схлопотал... Значит, не зашли. Может, мы кругами ходим? (Покосился на Галку. Галка нервно щупала перед собой свободной рукой, и лицо у нее было испуганное.) Все, подумал он. После такого уик-энда я бы на ее месте меня бросил. Идиот... Повез, называется, невесту развлечься... Так. Еще немного, и останется предложить даме сесть и подождать, пока развеется. Ладно. Свитер подстелить, в конце концов... Зажигалка есть, можно костер разжечь... Сжимая трясущиеся челюсти, он вдруг ясно представил: сидеть в тепле у огня... и потянуться к пламени закоченевшими, ноющими от холода руками, и запах дыма, и треск дров... Да. Это в росе-то на лугу ты собрался взять дрова?..

Невесту. Он шагал, не глядя на Галку. Вспомнился ужин накануне отъезда и материны толстые намеки: Лидочка так любит тетю Галю... а Вера на тебя не рассердится и не заберет дочку, что ты, — Вера же к тебе на самом деле хорошо относится, и все равно уже ясно, что у вас больше ничего не будет... И как он отмалчивался, жуя. С тех пор, как после Валеркиного — совсем случайного — звонка родители распили на двоих флягу со спиртом из аптечки, он боялся спорить. Но тут, к счастью, набежала сама Лидочка с книжкой про трех медведей и атаковала бабушку — под шумок он поспешил смотаться. Не-ет, так жить нельзя...

Туман поднялся уже выше голов. Даже траву под ногами было едва видно. Вот как сверзимся сейчас в какую-нибудь яму...

И тут же он вспомнил — в тему — давний Веркин рассказ о том, как школьницей гостила она на Украине у родственников и как-то ночью заплутала в степи, одна возвращаясь с дискотеки в соседнем селе. Как в кромешной тьме провалилась в канаву и выползла, утопив туфлю; как в конце концов, потеряв надежду, улеглась спать в траве; как утром ее разбудил, ткнув мордой, здоровенный бык и как вытаращил на нее — растрепанную, в репьях и в одной туфле — глаза прибежавший на визг пастух...

И было молчание. Тишина. Туман сглатывал звуки — даже шелест травы.

Прошлое

...Слишком много всего придется объяснять. Что по законам Киевской Руси княжеский титул наследовал старший в роду; что когда-то у князя, первым решившего обосноваться в тамошних лесах и срубившего усадьбу-крепость, было три сына...

— В общем, когда-то, — начал он, — жил там князь. И было у него три сына. Как в сказке...

Они пили кофе. Теперь он сидел рядом с ней на диване.

...Рассказать, что старшие братья подослали убийц к младшему — который только вернулся из совместного с кем-то еще похода за тридевять земель, на полов-

цев, и вообще пользовался популярностью в войске; что вскорости самый старший брат ухитрился умереть в своей постели, после чего князем стал средний; но у старшего остался сын и должен был наследовать дядюшке — и это не мешало дядюшке, пока он не задумал жениться на дочери датского ярла, которую и видел-то только на портрете, а родственники невесты не потребовали клятвенного, вписанного в брачный договор обещания — передать княжество по прямой линии, родному сыну...

— Двое умерли, а третий решил жениться, — ставя чашку на столик, брякнул он. Это сработало — она улыбнулась. — А вдова его старшего брата хотела, чтобы ее сын... в смысле ее и брата сын унаследовал титул князя. Тогда говорили — «стол». Царский престол — это, видимо, стол в квадрате... (Галка засмеялась.) А князь собирался титул передать своему сыну — если бы у него сын родился. Ну, она привлекла к делу еще одного их родственничка...

Тут он отобрал у нее ее чашку и полез целоваться; а когда они оторвались друг от друга и Галка, поправляя майку, выбралась из диванных подушек, продолжал как ни в чем ни бывало — допуская, что ей и вправду может быть интересно:

— В общем, приехала эта невеста... из своей Дании, а тут уже приняли меры. У этого родственничка была дружина... Правда, там, насколько я понял, кроме дружины ничего и не было. И грабил он с дружиной на дорогах.

— Я к тебе приеду, — сказала Галка, кладя одну клетчатую ногу на другую клетчатую ногу. В вырезе майки на черном ремешке качнулся кулон — раскрашенный цветной глазурью глиняный квадратик.

Настоящее

...Что она запомнила из рассказанного, интересно. Черт же ногу сломит в этих братьях, сыновьях, тетках и племянниках.

Сломить ногу она попыталась немедленно. Споткнувшись и падая, успела уцепиться за его рукав. Стоя на одной ноге, терла ушибленную лодыжку, с ненавистью разглядывая торчащую из земли погнутую ржавую арматурину.

— Сволочь... — Она опустила ногу и пнула арматурину. И поглядела на него исподлобья.

— Извини, — сказал он. И перебросил ее сумку на другое плечо.

Они помолчали, озираясь. Туман не имел запаха, он был неощутим, и странно было, ощупью двигаясь сквозь белое и непрозрачное, не чувствовать ничего, кроме сырости и холода. Голые и мокрые до колен ноги мерзли. Он потер ногой об ногу.

— Слушай, — сказала Галка. — Археолог Иван Сусанин. Лучше бы нам было пойти по дороге.

Он промолчал. Он и сам все это время думал о том, что лучше бы им было пойти по дороге. Подумаешь, полкилометра лишних, зато по утоптанной обочине, а глядишь, и попутка бы подвернулась... Да уж пешком давно бы дошли... Но кому же, блин, такое могло прийти в голову? Туманец. Подумаешь, бывает... А туманец с каждым шагом гуще и гуще... Сразу надо было вернуться, а теперь уже и не свернешь — начнешь вертеться, совсем заплутаешь... А может, мы и плутаем уже? То-то никак не выйдем...

Галка потянула его за рукав.

— Эд, а помнишь, ты рассказывал, что где-то здесь невесту князя подкараулили и зарезали?

Прошлое

— ...Ну и вот, — сказал он, поймав ее взгляд. — В общем, пообещала вдова ему... Рогволд его звали, отчества не помню. Так вот она пообещала ему денег, плюс чтобы он себе взял всю добычу...

Он отодвинул столик с пустыми чашками. Теперь надо было объяснять, что второй княжеский племянник прав наследования не имел — во-первых, он был незаконным сыном, от пленницы, во-вторых, его отец погиб, не быв князем, и его, отца, потомство (а хоть бы и трижды законное) выпадало из линии наследования...

— А с самой этой вдовой что стало? — спросила вдруг Галка. — И с этим Рогволдом?

Он пожал плечами.

— А хрен их знает. Наверно, попались, раз в летопись вошло.

Настоящее

...Что он был гомиком, о чем открытым текстом сказано в летописи, а это по тем временам большая редкость. (Нет худа без добра — сейчас Эд по крайней мере был спокоен за выражение своего лица. Щеки свело, и

некстати ухмыльнуться он не смог бы и при желании.) Что в уголовных занятиях лиц, занимающих относительно высокое социальное положение, не было ничего особенного. Феодальная раздробленность — феодалов много, имений меньше и сами они с фигу... «Банда рыцарей нападает на купеческий караван».

Пахло сыростью. Мокрой травой. И мокрой землей. Он запрокинул голову. Вверху, на фоне солнечного неба, плыли по ветру белесые клубы.

— Это то самое поле, Галя, — сказал он.

Они стояли, и она смотрела ему в лицо. И глаза у нее были испуганные. На самом деле.

Зря мы трогаем эту тему, думал он, прижимая ее к себе и поверх ее головы вглядываясь в седую морось. Хорошо еще, я не успел сказать про склеп и про то, что кости этой женщины лежат в палатке у начальника экспедиции — в коробке из-под музыкального центра «Панасоник». Смешно, а дергают все эти старые истории. Особенно на таких вот полях. Говорят, где-то не то в Палестине, не то в Израиле есть местность, называющаяся вполне по-библейски — Армагеддон. Очень удобное было место с военной и экономической точек зрения, за него воевали и воевали, и теперь, говорят, там на квадратный метр почвы — килограмм человеческих костей.

Под ногой хрустнуло. Ветка, но ему вдруг тоже стало не по себе. Здесь когда-то брали приступом крепости, плакали и клялись, и бежали, спотыкаясь, за колоннами пленных... Такие же шизофреники жили, как мы. Когда-нибудь и наших привидений будут бояться, успокаивал он себя, дыша старательно глубо-

ко. И засмеялся, вдруг представив, как в глазах средневекового призрака должны выглядеть они с Галкой. Особенно Галка — шортики, едва прикрывающие задницу, глаза, накрашенные пострашней, чем у иного персонажа ужастика, красный ежик волос...

И еще некоторое время они молчали, ощупью пробираясь в тумане. Туман все не кончался.

...И про монголов, что шли здесь спустя десять лет после той истории — уже разорившие полстраны, шли на Новгород; где-то здесь должны были объединиться три части монгольского войска. (Группа армий «Юг», группа армий «Север», группа армий «Центр».) Здесь, весной, в половодье, ставка самого хана Бату оказалась отрезанной на островке посреди вскрывшихся болот. И вдовий сын, дурак-мальчишка, ставший-таки князем, ибо дядя его так и не женился, сам, ночью, добрался до нее и пообещал вывести — в обмен всего-то на земли соседа, с которым судился... И вывел. И когда монголы сажали его на кол, кричал, наверно, о подлости человеческой и несправедливости мира... Вся соль-то в том, что если бы не этот парень, монголы ушли бы с Руси. Не разорив ни Торжка, ни Киева, ни... И не вернулись бы никогда. И не было бы Ига, и еще много чего не было бы...

— Эд, — позвала Галка — таким странным голосом, что он тут же вскинул голову. Она смотрела на него поверх запястья с часами. — Погляди на время.

Он неохотно — хотя терять было уже нечего — вынул левую руку из кармана и поднес к глазам.

Сначала он даже не удивился. Первая мысль была — что он надел часы вверх ногами. Отстегнув, бессмыс-

ленно долго их вертел, так и эдак прикладывая к руке, пугая верх и низ латинских цифр, и с каждой секундой ему становилось все страшнее.

Вместо положенного утра часы показывали третий час дня.

Батарейки сели, — предположил он сколь мог спокойно, ощущая на спине враз проступившую испарину.

Галка, не сводя с него круглых глаз, медленно поднесла к его лицу свою руку с часами. На ее часах вообще был вечер — семь с чем-то.

Ты куда меня завел? — спросила она шепотом.

Не знаю, — ответил он — глупо и честно. В памяти вдруг — к месту, но не кстати, — всплыло что-то из литературы: «Куда ты завез меня, проклятый ишак?!»

Мысли метались: трансформаторная будка? подземный кабель? линия электропередач? Линии электропередач здесь только вдоль шоссе да вдоль железной дороги, откуда здесь трансформаторная будка, и никаких засекреченных объектов нет поблизости и никогда не было... Могильник радиоактивных отходов? Незаконный? Черт его, конечно, знает, но все равно — это какая должна быть радиоактивность, чтобы часы полетели... И может ли вообще радиоактивность вызвать такой эффект?

Эдик, — сказала Галка. — У тебя есть компас?

Нет, — нарочито удивленно отозвался он — а про себя порадовался. Суждено выйти — выйдем и так, и не хватало нам еще увидеть пляшущую по кругу стрелку компаса. Так сказать, для полноты картины и поднятия морального духа...

Туман словно бы стал еще гуще — сквозь белесые волокна Эд едва различал Галкино отчаянное лицо. Она озиралась.

Он ощупью отыскал ее холодные пальцы.

— Не бойся. Это просто какие-то помехи. Сейчас мы выйдем...

— Как в Бермудском Треугольнике, — не слушая, перебила она — шепотом, и от этого сбивчивого шепота ему стало еще страшнее. Я читала, — шептала она, водя перед его лицом свободной рукой. Глаза у нее стали как будто еще круглее. — Там ни с того ни с сего поднимается очень густой туман, и часы сбиваются, и компасы, и моторы глохнут, и радиосвязь...

— Галя, — быстро сказал он. — Не надо.

— Эди-и-ик...

И как раз в этот момент он наконец споткнулся — что-то дернуло ногу, и с непроизвольным матом он вылетел вперед, выронив сумку и проехав животом по мокрой колючей траве. Взвизгнула Галка, тоже едва не упавшая, но вовремя выпустившая его рубашку.

— М-мать... — выговорил он, упираясь руками в мокрые листья — кажется, лопухи, — и поднимаясь на четвереньки. — Й-й-й... т-т...

Рубаха была мокрая, в полосах зелени. И джинсы были мокрые — только что зелени на черном не было заметно.

— М-м-мать... — повторил он, сидя в траве и ощупывая колено.

Невеста отряхивала на нем рубаху. И в этот момент — на долю секунды раньше ойкнувшей Галки — он увидел предмет, ставший причиной его падения.

На носке кроссовки висели бусы. Между пестрыми бусинами торчало несколько застрявших, вырванных с корнем травинок.

— Эт-то что такое? — вопросил он в никуда.

Присевшая на корточки Галка потянулась было взять находку — и снова ойкнула, отдернув руку.

— Почему?.. — спросила она шепотом.

На бусах были крошки инея — словно валялись бусы в снегу. И они были холодными. Такими жгуче-холодными, что к затесавшимся меж стеклянных бусин бусинам узорным металлическим липли пальцы. Ему пришлось положить находку на колени и дышать на закоченевшие руки.

И некоторое время они молчали, разглядывая. Бусы оттаивали — иней исчезал на глазах. Как будто все время до этого они, бусы, лежали где-то на холоде...

— Чушь какая, — сказала наконец Галка, кончиком пальца смазывая туманно-водяной налет с одного из пестрых шариков. — Бред...

Бусины. Неровные, разноразмерные, не вполне шарики цветного непрозрачного стекла — со странными узорами, словно бы вкраплениями другого цвета — кружочками, квадратиками, кружочками с крестиками внутри, волнистыми линиями... У бус не было замочка — они были собраны на элементарную веревочку, завязанную узелком... Нет, не на элементарную — он понял это, когда снова взял их в руки. Веревочка была чем-то пропитана — чем-то похожим, мама моя, на смолу...

— Мы такие при раскопках находили, — сказал он наконец. И, помедлив, добавил: — Только эти, по-моему, новые...

Галка не удивилась.

— Значит, кто-то кроме вас там пасется, — заявила она, забирая бусы у него из рук. — Из местных девчонок кто-нибудь.

— Бусины новые... Дай, — он отобрал бусы у нее. — Откуда они взялись? — рассуждал он вслух, передвигаясь на четвереньках и шаря руками в траве. — Где-то здесь я их зацепил...

Дождь росы сыпался на него. Он замолчал, ощупывая мокрую землю.

...Какие они были холодные — будто на снегу лежали... На снегу... Теперь, когда он силился перебрать в памяти секунды падения, у него появилось странное ощущение. Будто, падая, он в какую-то долю мига видел: серое, низкое, зимнее небо, и прогнувшиеся под тяжестью снега лапы подступивших елей, и на сугробах — какие-то разбросанные вещи, что-то красное валялось — ткань, похожая на сорванную занавеску... И как будто пятна крови...

Он потряс головой, отгоняя бред. Поднялся и, пригибаясь, чтобы видеть, раздвинул траву. Занес ногу для шага, и...

Упал ли он на самом деле? Или падение ему лишь почудилось? Ощущение, какое бывает, когда падаешь во сне: летишь, валишься куда-то, толчок сердца, — и в те же доли секунды, просыпаясь, осознаешь себя лежащим на кровати...

Он потряс головой, но ничего не изменилось. Он стоял на коленях — по плечи в снегу. В полуметре впереди еще раскачивались потревоженные лапы огромной ели, и снег с них еще падал... Было тихо.

Завозившись, он машинально потянул из сугроба руку, сжатый кулак с бусами. Но в кулаке ничего не было. Он принялся шарить в снегу под собой, но ничего не нашел. И снег вокруг был не тронут, и ничего не валялось на нем.

Он попытался подняться, оступился и снова рухнул. Сквозь мокрую одежду снег жег.

— Мама, — сказал он вслух, барахтаясь в сугробе.

Подняться он смог, лишь ухватившись за ветку ели. Его осыпало снегом. Откуда-то с верхушки дерева снялась крупная растрепанная ворона и молча полетела низко над лесом.

Лес подступил. Вокруг был уже не луг, а скорее весьма умеренного размера поляна. Верхушки елей упирались в рваное серое небо, откуда неторопливо летели темные на фоне туч снежинки.

Здесь было не утро. Зимой в семь утра еще темно. Здесь был день, самая середина серенького зимнего дня.

Было нестерпимо холодно. Он стоял по пояс в снегу, держась одной рукой за елку, а другой обнимая себя за плечи.

— Мама, — позвал он шепотом и крикнул: — Галя!

Выпустил ветку и, шагнув назад, снова упал на колени. Он отчаянно рыл снег, плотный, слежавшийся, нестерпимо заныли скрюченные пальцы, а он все рыл, ворошил, раскидывал, снежные ошметки летели в лицо... Найти, снова попасть в ту невозможную, невероятную, непредставимую лазейку, через которую он вывалился из лета в зиму, со знакомого луга черт знает куда... Господи, да что же это!..

...Он поднялся, когда совсем перестал чувствовать пальцы. Вырвал рубашку из джинсов и засунул ладони под мышки. Его шатало.

Это все бред, думал он, трясясь и стуча зубами, вытирая текущий нос о плечо. Бред. Сейчас я очнусь, голова моя будет лежать на коленях у Галки, а над лугом будет всходить солнце...

Сейчас я умру, понял он вдруг. Я упаду и останусь лежать в сугробе, через пару часов меня припорошит снежком, через пару дней совсем занесет... Люди! Есть ли здесь люди? Куда я попал?.. Где сейчас зима? Даже на Северном полюсе полярное лето, да и не похоже это на Северный полюс. Канада?..

Стуча зубами и по возможности подпрыгивая, он вступил в лес и тут же понял, что сделал это зря.

Лес был страшен. По этому лесу не ходили люди. А если и ходили, то лишь изредка, крадучись, пугливо озираясь... Здесь не было тропинок — которые он, в сущности, не видевший дикой природы, подсознательно полагал естественной частью лесного ландшафта. Обросшие мхом необхватные стволы терялись в путанице заснеженных ветвей, на каждом шагу торчали полузанесенные коряги, с каждым шагом он проваливался по пояс... Такие леса он видел только на иллюстрациях к русским народным сказкам — преимущественно на страницах, где повествовалось о Бабе Яге.

— Люди! — крикнул он отчаянно, прыгая на месте и оттого проваливаясь глубже в снег.

Лес отозвался эхом. Что-то ударило его по плечу — шарахнувшись в сторону и едва не упав опять, он с ужасом разглядел утонувшую в сугробе шишку. Кричать

было жутко. Молчать — смертельно опасно. Через час начнет темнеть, а я совсем замерзну и обессилю, соображал он, затравленно озираясь. Через два часа наступит ночь...

— Лю-у-у-ди!

Сзади кашлянули. Он круто обернулся — едва не сев в сугроб — и увидел.

Прошлое

На экране монитора светилась карта Египта.

— Смотри, — объясняла Галка, лежа на столе и вопреки многократно повторенному запрету тыча в экран пальцем. — Это Хургада — видишь, на самом берегу Красного моря? А это Шарм-Аш-Шейх, вот он, подальше в пустыню...

Под окном прогремел последний трамвай; в углу экрана моргали цифирки, отщелкивая интернетовское время. Галка увлеченно рассуждала о кораллах Красного моря и о том, что в приличных отелях дают напрокат акваланги; об отелях «первой линии», ближайших к морю, самых дорогих, и «второй линии», подальше...

— Все, — сказал он, сдаваясь. — Согласен. Хочу на Красное море!

...И были дни разговоров — об экскурсиях и их стоимости, о катаниях по Нилу, о пирамидах, о Каирском музее — это он хотел в Каирский музей, а она хотела в Каир, в старые кварталы — она собиралась еще в России накупить сумку пленок и снимать, снимать... Она

любила фотографировать и фотографировала вполне профессионально; на День Святого Валентина он подарил ей «Никон» какой-то там, из последних, — фотоаппарат с объективом стоил, как полмашины, но Галка была счастлива.

Они уже обошли — на пробу — несколько турагенств; даже купили в «Доме Книги» путеводитель по Египту. Да вот не сложилось.

Настоящее

...Трое стояли на опушке — шагах в десяти от него. Заросшие, бородатые, в косматых, на вид овчинных полушубках — не полушубках, в круглых шапках с мехом, в каких-то немыслимых онучах на ногах, совершенно доисторического вида мужики выглядели еще менее правдоподобно, чем все остальное. Сказочные персонажи в сказочном лесу. (Вот тебе и привидения...)

Дырка во времени, подумал он тупо, глядя, как с поляны к троим пробираются еще двое, еще четверо... Даже на традиционных русских крестьян они как-то мало смахивают. Это какое же у нас время?.. А места-то все-таки — те же или не те?

Дальше опушки они не двигались. Стояли, увязнув в снегу, и смотрели на него. У того, что стоял крайним справа, морда была обвязана тряпкой.

Но выбирать не приходилось. И все таки это были люди. Он ничего не понимал, но это все таки были люди. И он двинулся к ним, проваливаясь при каждом шаге.

Люди молча глядели на него. Лица их были неприветливы — впрочем, под бородами было не понять. И некоторые держали — сразу он этого не заметил — длинные, выше их роста шесты с явными заостренными наконечниками. Копья.

Он остановился. Теперь он разглядел дубинки, на которые кое-кто из них опирался. Тесаные, толстые внизу и заостренные вверху. Тесаки. Он никогда, кроме как в мультфильмах, не видел такого. И на поясах у них висели явные ножны — длинные ножны, откуда торчали рукоятки мечей, а у нескольких еще что-то болталось за плечами — что-то, насколько он мог судить, весьма похожее на луки и колчаны...

Тот, с обвязанной мордой, с рукой на рукояти меча, сказал что-то — голос невнятно прозвучал сквозь тряпку. И услышав эту речь — вроде бы знакомые, похожие по звучанию, как бы русские, но невоспринимаемые слова, архаически шипящие окончания, — он не поверил сам себе.

«Я безоружен», — хотел сказать он, но на этот раз сведенные челюсти просто отказались разжиматься, а губы — шевелиться. Тогда он заставил себя высвободить и поднять руки. Всплыла единственная тоскливая мысль: «Убьют». Человек соображает быстро — времени, что он блуждал среди сугробов, хватило, чтобы почти свыкнуться с мыслью, что он погибнет в этом нелепом бредовом мире. На краю сознания держалась некая странная уверенность, что тогда-то он и очнется на коленях у Галки.

Один из бородатых шагнул вперед — он был ниже Эда на голову, или просто глубже ушел в снег, — и схватил его за плечо. Двое других тотчас наставили ко-

пья — тусклые отблески лежали на плохо отшлифованном металле наконечников.

«И все твои боевые искусства тут ни к чему. Рука с мечом-копьем-дубиной длиннее ноги, тут уж ничего не поделаешь...»

Мужик ощупывал на нем рубашку. Подергал за воротник, отковырнул край нагрудного кармана — рука в меховой рукавице не пролезала внутрь. Дышал он ртом, выпуская облачка пара, неопрятная борода — скорее желтая, чем белокурая — вокруг рта смерзлась сосульками.

Кто-то из стоявших вдруг размашисто перекрестил их. (Эд при этом жесте испытал легкое облегчение — христиане, есть надежда, что людей не едят. С другой стороны — могут сжечь на костре...) Тип с завязанной мордой толкнул желтобородого в плечо и, шагнув вперед, сам оказался лицом к лицу с Эдом.

Он был повыше того — ниже Эда на полголовы. Между опушкой шапки и красно-синей полосатой тряпкой Эд видел только верх измазанной чем-то черным скулы да глаза — зеленоватые, светлые в черных ресницах. С коротким шелестом из ножен вылетел меч и уперся Эду под подбородок. И по тому, как сощурились глаза, по складкам тряпки ему показалось, что человек улыбается. Из-под шапки завиток русых волос лез в глаз.

Отступать было уже некуда — с двух сторон его схватили за руки. Он рванулся, но двое бородатых держали крепко. Легонько нажимая, острие меча прочертило на его шее линию — от уха до уха. Глаза щурились смехом. «Чокнутый какой-то, — подумал Эд с тоской. — Зарежет...»

Где-то вдалеке заржала лошадь. Визгливый, прерывистый, утробный звук. Человек круто обернулся — все они обернулись. Одинаково напряженные лица. А потом острие больнее вдавилось в горло — и Эд понял, что все до этого было только игрой, а теперь игры кончились. За остановившимися зрачками зеленоватых глаз он осознал (уловил? ощутил?) работу мысли. «Взгляд убийцы».

Человек снова отвернулся, точным движением бросив меч в ножны. Махнул рукой куда-то в сторону, с явно восклицательными интонациями прошептав (скомандовав?) что-то, и первым побежал в указанном направлении. Остальные — их оказалось неожиданно много — сорвались следом. Эда волокли под руки. В забитых снегом кроссовках онемевшие ноги уже не чувствовали ничего.

Деревья расступились на краю обрыва. (Эд вдруг вспомнил: про обрыв рассказывал — должно быть, по ассоциации, — Витькин однокурсник Паша, заливая йодом полученную при падении в раскоп ссадину. Обрыв сровняли в пятидесятых годах, когда поворачивали речку Глуховку.)

Внизу, между склоном обрыва и, кажется, полем — заснеженным пустым пространством — открылось что-то похожее на дорогу. По крайней мере, в неглубоком на вид снегу виднелись конские следы и запорошенные навозные кучки.

Вместе со всеми глядя сквозь путаницу кустов, Эд, уже не в состоянии сдерживаться, трясся и громко стучал зубами. Тип с завязанной мордой оглянулся, сквозь зубы прошипел что-то, махнув на него рукой. Испугаться Эд не успел — сзади ему на плечи набросили

плащ. Подбитый мехом. Навалясь и дыша в ухо, затянули тесемки под горлом.

Прячась за стволами, банда смотрела вниз. Лошади заржали снова — совсем рядом. Из-за поворота, из лесу, четверо вороных вытянули кожаный расписной возок — нечто вроде кибитки на полозьях. Следом появились всадники и еще двое саней, с верхом груженых чем-то накрытым тканью и кожами.

Всадников было несколько десятков. Может быть, человек сорок. Эд тупо разглядывал, пытаясь понять, похожи ли они на древних русичей. То, что древние — это стопроцентно...

Шлемы, у кого круглые, а у кого конические, забрала вроде металлических очков, круглые шиты... Копья. У одного на древке копья, пониже наконечника, развевался флажок. Плащи, мечи, сапоги... Топот, ржание и фырканье коней, скрип, звяканье, голоса... Съемки исторического фильма.

На краю обрыва вокруг Эда толпилось человек тридцать. Он слышал их тяжелое дыхание. Все смотрели вниз. («Разбойники? Так тогда они опоздали, нападать надо было в лесу...»)

Совсем опоздали, как выяснилось через несколько минут. Кони ржали, задирая головы, и, как оказалось, не зря. В противоположном конце дороги показался еще один конный отряд. Шлемы, тоже вытянутые, но иначе, смахивающие на металлические буденновки... а вон у того, черт, такой же, как у тех, — яйцом... Да черт их разберет.

Все в целом, как тупо отметил Эд, могло бы сойти за иллюстрацию к его недавнему рассказу Галке, — датчане привезли свою невесту, русские их встречают, раз-

бойники целятся напасть... Если те — датчане, те — русские, а эти — разбойники...

Только вот удобное время для нападения разбойнички упустили. А упустили потому, вдруг понял он — и от ужаса даже слегка согрелся, — что отвлеклись на меня. Я орал в лесу, и они пошли меня искать. Почему пошли? Не пожалели же — да они наверняка даже не поняли, что я звал на помощь... Хотя я кричал «люди», и это слово, кажется, древнее... Подумали на кого-нибудь из своих, посланного на разведку? Глупость... Должно быть, они просто ждали невесту несколько позже...

Если там, в возке — невеста...

Мысли развертывались сами собой. «А как же тогда этот отряд, выехавший навстречу?» — «А может, он как раз и должен был застать разбойничков на месте преступления — может, как раз благодаря этому все дело и должно было вскрыться и попасть в летописи...»

Когда не заслонял обзор нависший над дорогой вывороченный пень, было видно, как внизу гарцуют, раскланиваясь, всадники. Один — безбородый, но усатый, в богатой даже на несведущий Эдов взгляд шапке и в плаще с волчьей шкурой на плечах — кажется, даже волчья голова болталась (Эд про себя тихо содрогнулся), — откинув фартук возка, заговорил с сидящим (сидящими?) внутри.

Минут через десять, судя по всему, взаимных комплиментов, встречающие окружили обоз вторым кольцом. Всадник в дорогой шапке рысил рядом с возком. Это было последнее, что Эд успел увидеть перед тем, как его оттащили назад.

Банда бежала вдоль обрыва. Эд, слегка согревшийся в плаще, спотыкаясь, бежал между двумя державши-

ми его мужиками. В голове у него прыгало: монголо-татарское нашествие, Господи, что я наделал... «Если бы не этот парень, может, монголы бы с Руси ушли...» А чтобы «этот парень» стал князем и сделал свое черное дело, невесту его дяди должны были убить в дороге, что я наделал... А что я наделал? Откуда я знал? Кто меня спросил? Тяжелый ужас поднимался со дна души. Что теперь будет, Господи?.. Может, русской столицей окажется не Москва, а какая-нибудь Старая Ладога... да это вся история по-другому пойдет. Господи, да не может быть такого, не может, не может, нет...

На опушке леса, на утоптанном пятачке фыркали, переминаясь, привязанные кони. Лошаденки — сытые, судя по степени упитанности, но, Боже мой, — низкорослые, большеголовые, лохматые... Впрочем, те, каких он видел с обрыва, были, надо думать, не краше — просто издалека да сверху это не так бросалось в глаза. Да-а, подумал он. А тебе орловских рысаков подавай. До орловских рысаков, милый, еще пятьсот лет...

И вот эта случайная мысль пригвоздила его к месту. Все внутри тихо опустилось. Это вроде бы само собой разумелось с самого начала, но... Пятьсот лет до орловских рысаков, триста — до Ивана Грозного, семьсот — до Гагарина... Тысячелетие крещения Руси... сколько у них прошло с Владимира Красное Солнышко? Лет двести... семьсот лет между моим временем и их... Они думают, что Земля плоская, а солнце, звезды и луна приделаны к небу, думал он, вглядываясь — должно быть, с плохо скрытым ужасом — в бородатые лица. Они никогда ничего не видели, кроме своего паршивого медвежьего угла, да для них поездка в ближайший город — редкое событие... Они думают, что за морями живут люди

с песьими головами, что алмаз можно расколоть, помазав кровью козла и что сушеное сердце филина, носимое в мешочке на шее, придаст мудрости носителю... Канары, Багамы, степи Крыма, — здесь из Европы в Азию можно добираться полжизни. Свежеоткрытая викингами Америка, где бродят дикие индейцы...

...Когда они потащили с конских спин какие-то тюки и принялись вытряхивать их на снег — посыпалась одежда явно лучше их собственной — он усомнился в своей догадке. Ведь с тем же успехом компания могла оказаться и обыкновенными разбойниками, которые, скажем, кого-то уже обчистили и собрались делить награбленное. Однако они ничего не делили, а торопливо переодевались — меняли штаны и рубахи, переобувались в сапоги, натягивали кольчуги, набрасывали плащи... Оборванные бандюги на глазах преображались во вполне приличный воинский отряд.

А он торчал под березой в обществе двоих в цивильном, сменивших двоих в разбойничьем, и на душе у него было тошно. Думал он о том, что с ним собираются делать — это было даже как-то абстрактно интересно, точно происходило не с ним, а смотрел он, скажем, фильм — и опять, как полчаса назад, когда ждал холодной смерти в лесу, каким-то краем сознания он почти хотел, чтобы эти псевдодревнерусичи прирезали наконец этого недоноска, горе времяпроходца. Инстинктивное желание конца плохого фильма, каковые концы принято приближать нажатием самой большой и заметной (как правило) кнопки на телевизоре...

Телевизор. Я больше никогда не увижу телевизора. Никогда. Даже самого примитивного, с крошечным эк-

ранчиком, накрытым полой лупой, в которую заливается вода... То, что было забытым прошлым, вдруг стало невообразимо далеким будущим — будущим, до которого я, оставшись здесь, не доживу, и дети мои бы не дожили — если бы у меня здесь родились дети, и внуки, и правнуки... За что? Зачем?

Кареты на рессорах, думал он с внезапной звериной тоской. Паровозы, первые неуклюжие машины — «моторы», аэропланы... О светлые дали прогресса!

Тип с завязанной мордой, взявшись за узел на затылке — явно собираясь снимать тряпку — медлил, глядя на Эда. Он, похоже, был здесь главарем — и, видимо, его не тянуло так вот запросто демонстрировать кому попало свою личность. Отворачиваясь, он ткнул в Эда пальцем и что-то сказал стоявшему рядом желтобородому. Кивнув, тот потянул из-под плаща моток веревки.

Эд сопротивлялся — когда понял, в чем дело, стал сопротивляться изо всех сил, но его все-таки скрутили, связали руки за спиной, замотали в плащ и поверх плаща еще раз обвязали веревками, и взгромоздили поперек коня. Некоторое время дергали за ноги — за обе попеременно — и что-то обсуждали. Видимо, разглядывали кроссовки. Подняв голову, лошадь шеей вжимала Эда в луку седла.

Потом твердое уперлось ему в плечо, над головой кто-то крякнул, зашуршала одежда, лошадь фыркнула, и твердое же — должно быть, второе, правое колено садящегося, — ударило Эда в бедро. И лошадь зашагала. Потом затрусила быстрее. Потом, похоже, взяла в галоп — и Эд немедленно осознал все преимущество механического транспорта.

Поза была идиотской и страшно неудобной. Было больно. Очень больно, и скользко, и нечем ухватиться... лошадь оказалась жутко трясучим средством передвижения, и каждый толчок ее спины был ударом под дых. Эд задыхался. Кашляя, терся лицом о гладкую, как велюровая диванная обивка, пахучую шкуру... и съезжал, съезжал, а ухватиться было нечем и не за что... а ноги-то лошадиные — вот они... и земля... головой под копыта... И каждый раз его хватали за одежду и вздергивали — корчащегося, со слезами на глазах. Его уже мутило. Голова винтом, тошнота, мелькающие конские колени... и лука седла, обдирающая бок... сволочи, садисты...

Землю он мог видеть только под ногами коня — поднимать голову получалось плохо. Поэтому судить о приближении жилья можно было только по косвенным признакам — снег стал утоптанней и грязнее, на нем чаще попадались различных степеней свежести конские кучки. «Яблоки».

И был совсем грязный снег узкой улочки. Под бревенчатыми заборами — натеки, лужи мутного льда — со вмерзшими очистками, огрызками и прочими объедками. Он даже название села вспомнил — Ольжичи, в честь князя-основателя Олега.

Гулко застучали копыта по деревянному мосту. Извернувшись и глянув таки вбок от себя (его тут же ударили кулаком в спину), Эд успел увидеть над сугробами (точнее, под — смотрел вниз головой) основание бревенчатой стены и окованный низ отворяющейся внутрь — медленно, оставляя в снегу широкую борозду — воротины. Сердце поселения — укрепленный княжеский двор.

От прилива крови в глазах наконец поплыло.

Впрочем, уже через несколько минут — когда его стащили с седла, — он обнаружил себя внутри огороженного двора и смог созерцать мир в правильном положении. Откашлявшись и отдышавшись. И, пока вокруг переговаривались, он, шатаясь, стоял и смотрел.

Ему показалось, что он узнает. Крытый переход над воротами в деревянном частоколе, и многочисленные хозяйственные пристройки, от которых через семьсот лет останутся только совсем сгнившие остатки самых нижних бревен... И — главное — он узнал сам дом, непривычно низенькое для него и, должно быть, величественное по здешним понятиям сооружение. Крыльцо под двускатной крышей, с резными — Витька так и думал, что они были резными, — столбами, и второе крыльцо — высокое, до второго этажа... На ступенях чесалась белая собака, и многочисленные сосульки свисали с наличников и карнизов. Эд видел это здание на рисунке-реконструкции, который Витька как-то ночью состряпал в качестве приложения к реконструкции-чертежу — дабы по этому рисунку уже в домашних условиях делать отмывку для предъявления начальству.

А вообще-то княжеская усадьба стала решающим доказательством правильности его датировки происходящих событий. Она ведь и простояла-то меньше сорока лет. Строили при первом князе, отце трех братьев, а уже при его внуке ее сожгли монголы. А новым здание не выглядело, бревна — серебристые от времени, в черных потеках... Да и эти горе-разбойнички, заявившиеся среди бела дня на княжеский двор...

Долго озираться ему не дали. Были ступени на низенькое боковое крылечко; и распахнулась забухшая дверь, а сразу за порогом, направо — еще ступени, лестница вверх. Наверху — затоптанный пол и, как в сказке, три двери — налево, вперед и направо... Вот направо Эда и втолкнули — как ему показалось, в темноту. Дверь глухо стукнула, затем дрогнула еще раз — похоже было, что в нее ударили задом. И ширкнула задвигаемая щеколда, и дважды щелкнул в замке ключ.

Окно в помещении все-таки имело место. Типа окно. В стене напротив входа — горизонтальное прямоугольное отверстие в ладонь высотой. Заслонка — доска в пазах — отодвинута, пазы заснежены и обледенели. Света из этой щели почти не было — тем более что выходила она во двор, где уже протянулись предвечерние тени. Зато из нее дуло холодом и летели снежинки.

Кроме окна, имела место еще одна запертая дверь — слева от входной. Как и на той, на ней не было ручки — по крайней мере изнутри. Он пнул ногой в металлическую полосу внизу двери, заглянул в замочную скважину (не увидев ничего, кроме темноты) и отошел.

Вообще, все-таки вряд ли это была тюрьма. Для тюрьмы помещение было слишком чистым и слишком же пустым. Всей утвари — длинная лавка вдоль одной из стен. Лавка, правда, вытертая до блеска и даже с продавлинами. А стена, у которой она стояла, преподнесла первый за этот день приятный сюрприз. Щупая проконопаченные бревна, Эд обнаружил метровой примерно ширины глинобитный — горячий — прямоугольник. Видимо, заднюю стенку печки, боль-

шая часть которой находилась по ту сторону перегородки.

Он сел на лавку, прислонившись к печи спиной, через ткань плаща грея растопыренные пальцы связанных рук. Потом лег, вытянулся, прижимаясь всем телом. Его натурально тошнило.

Но печка грела, и даже ледяной сквозняк из якобы окна не очень мешал. Убивать его, кажется, не собирались, человеческие жертвы на Руси тринадцатого века вроде бы уже не приносили, князь Всеволод Олегович, средний из троих, в летописи числился — это Эд точно помнил — благочестивым христианином, построившим какую-то там церковь...

Мысли путались. И думать ни о чем не хотелось. Хотелось спать. Почему-то. Не смотря ни на что. Разморило, да еще и поездочка эта вниз головой... Я засыпаю в тринадцатом веке. А в это время там, в моем двадцать, блин, первом...

Он рывком сел на лавке, спустив ноги. Снова лег.

Первый месяц мои будут думать, что я загулял — и будут спокойны. Потом мама позвонит в универ и узнает, что экспедиция давно вернулась. Потом... потом, когда они оборвут телефон у меня в квартире и не по разу наведаются лично, кто-нибудь позвонит Галке. Не исключено, правда, что к этому времени Галка уже сама заявит в милицию... но маловероятно. До дырки во времени она, разумеется, не додумается, никаких других дырок на поле нет, поэтому она будет вынуждена заподозрить изощренное свинство с моей стороны. И никому звонить не будет.

...Еще через пару дней мама пересилит себя и позвонит Валерке, и Валерка честно ответит, что после-

дний раз мы виделись в феврале — при разделе имущества. Еще через неделю родители обзвонят все морги, все больницы и заявят в милицию. Никто нигде ничего знать не будет, и вот тогда для них начнется самое страшное...

Он с размаху ударил лбом в лавку. Сел. Убейте меня, думал он страстно. Я согласен. За Христа. За Аллаха. За любую власть в любой стране. Но — ТАМ, ТАМ! Я, в конце концов, не историк, мне все это вовсе не интересно, у меня мать, отец, дочь, — я нужен там! Мать свихнется. Отец... Верка на себя еле зарабатывает, куда ей еще ребенка кормить. Да они пропадут без меня!.. Господи! — он размеренно бился головой об стену. Было невыносимо, и кто-то в нем спохватился: «Думай о Галке. Еще неизвестно, кстати, все ли в порядке с ней самой...»

Он сидел, плечом и лбом прислонившись к печке. От тепла связанные руки заныли сильней. Мерзли ноги в мокрых кроссовках.

Галка... Еще только этого мне не хватало. «Не может быть, она осторожная, она так просто не сунется...» — «А если случайно? Она видела ли в тумане, что со мной случилось? А если не видела, пошла меня искать?..»

Он закрыл глаза. В опасность для Галки он уже просто отказывался верить. Организм взбунтовался против такого количества поводов для мучений.

Тошнота.

...Разномастные палатки среди зелени. От армейской, шинельной — старой, тяжелой, наверно, как зверь — Ахмета, до туристской, новенькой, ярко-сиреневой —

Паши с Диночкой. Руководитель экспедиции — лысый мелкий мужичок по кличке Дядя Степа... Я не археолог, какой я археолог. И не историк. Мне просто интересно. Вот, достукался.

Дос-ту-кал-ся, думал он, притоптывая ногой. Ду-рак.

Ребята, конечно, переполошатся, думал он. На работе, опять же... А Бобров-то с ума сойдет — партия придет, а документация вся у меня... И черт с ним. Мне на этих машинках уже все равно не кататься.

...До него не сразу дошло ерзанье ключа в замке. И не сразу он заставил себя разлепить веки и повернуться к входной двери. И то, что открывают не эту дверь, а другую, в глубине помещения, он понял лишь услышав за спиной скрип петель. Он обернулся.

Будущее

И шел бы дождь. Снова дождь, да, малыш, это правда, у нас отвратительный климат.

...Залитый грязной водой мрамор полов метро. Я могу подарить тебе сказку. Железные лестницы, ползущие в освещенные недра земли; с гулом, шипением и свистом мчащиеся под землей поезда... Да, у нас отравленный воздух и на улицах сизо от выхлопных газов; упаси тебя Бог пробовать воду из наших рек... Но ты не поймешь этого, малыш. В твоем мире это называлось бы сказкой — сияющие гирлянды поперек широких, как площади, и прямых, как стрелы, улиц, и разноцветные витрины, и «черный свет» дискотек...

Эд лежал носом в подушки, вцепившись зубами себе в запястье. Я купил бы билеты на самолет. Тебе ведь никогда не приходилось видеть море. Вам всем и в голову не приходит, что где-то на свете могут быть белые коралловые пески, и стеклянно-прозрачные океанские волны несут доски серфингистов... там пальмы, и розы, и водопады... Я так скучаю по моему миру, малыш. Я создан в нем и для него, и никакого другого мне не надо.

Вашего не надо в особенности.

Уже неделю я болтаюсь здесь, малыш, а выхода нет, нет, нет... И я не знаю, как мне жить дальше.

Настоящее

...Женщина шагнула в комнату, подняв подсвечник с единственным оплывшим огарком. За ней в сумраке коридора маячила широкоплечая фигура мужчины, тяжелые складки густо-красного плаща.

Женщина выглядела лет на сорок. Может быть, на самом деле ей было меньше — в те (в эти?) времена люди старились (старятся?) быстрей. Надвинутое по самые брови белое покрывало — длинное, что-то среднее между покрывалом и плащом — на шее стягивал резной обруч желтого (кажется) металла. В узорной кайме мелкого жемчуга обрюзглое, с брыльями лицо, родинка сбоку носа. Глаза — большие, светлые. Она смотрела на Эда, неприязненно поджав губы. Он видел держащую подсвечник руку — маленькую, в набухших жилах. Жемчужную отделку на рукаве — такую же, как по

краю покрывала. В перстне поблескивал квадратный прозрачно-голубой камень.

Парень легонько подтолкнул ее в спину и шагнул вслед — из тени, щурясь на свет свечи. Эд мельком удивился — отстраненно и неуместно. Такое встретить в домонгольской Руси он не ожидал.

Бывают такие лица, наводящие на мысль о межрасовых браках: при общей европеоидности черт — носа, скул, — сохраняется легкая нивелированность глазных впадин и явно азиатский разрез глаз. Что самое странное, волосы у парня были русыми — то ли волнистыми, то ли просто давно нечесанными. Бороды не было, была вполне современного Эду вида небритость... Половцы! — сообразил Эд вдруг. Их вроде ведь и прозвали так за цвет волос — от русского «полова» — солома... И правда, выходит, межрасовый брак. Кто-то женился по расчету. Или не по расчету не женился...

Парень что-то говорил женщине, показывая на Эда. (Тот торопливо поднялся, отталкиваясь скрученными локтями от печки.) Женщина подошла ближе — почти вплотную, поднесла подсвечник к его лицу. Вглядывалась. Потом спокойно переложила подсвечник в левую руку, обернулась к своему спутнику и вдруг с размаху влепила ему оплеуху.

В тишине парень медленно поднес пальцы к щеке. Губы растянулись в усмешке — кривой. Он сказал что-то, показав на этот раз в открытую дверь (из фразы Эд понял отдельные слова: «аз», «князю», «глаголю»), и ребром ладони чиркнул по горлу женщины.

Она отступила. Огляделась, быстро поставила подсвечник на край лавки и, обернувшись, поднесла к лицу парня растопыренные пятерни.

— Сто!

Это неожиданно понятное «сто» поразило Эда. В их речи вообще проскакивало много знакомых слов, но для них они, видимо, значили не то же, что для него — общего смысла выражений он все равно не понимал. Но уж тут нельзя было ошибиться. Числительное...

Она зла на него, соображал Эд. Из-за меня. Из-за самого факта моего появления?.. Во-первых — причем тут «сто», во-вторых — при чем тут он?

Всматривался в незнакомое, почти красивое (по его с семисотлетней разницей понятиям) лицо. Парень поймал его взгляд, и несколько секунд они молча смотрели в глаза друг другу. Парень подошел ближе. На плече из-под волос поблескивала золотом круглая бляха — застежка плаща. Светлые глаза в черных ресницах...

И по ставшей шире ухмылке Эд догадался — атаман разбойничков понял, что он, Эд, узнал его.

И еще какое-то время они смотрели друг на друга. Взгляд парня не был неприязненным — был насмешливым, изучающим, прямо-таки приценивающимся, и это Эду не понравилось. Вдова княжеского брата, похоже, не заблуждалась насчет мотивов своего киллера.

Женщина взяла подсвечник и пошла из комнаты — не оглядываясь. Парень, чуть помедлив, повернулся и двинулся было следом. Все уже было ясно... но проверить стоило бы. И, прекрасно понимая, что делает глупость — и опасную глупость, — Эд неуверенно позвал, глядя в спину уходящему:

— Рогволд.

Парень обернулся так резко, что мотнулся плащ за плечами. Сощурясь, вглядывался в Эдово лицо. Эд молчал. Он и не мог придумать, что сказать.

— Развяжите руки, — двигая плечами, проговорил он наконец — не надеясь, что его поймут.

Его, кажется, и не поняли. Вдова вышла первой, и с ней из комнаты ушел свет. Рогволд, придерживая плащ, на пороге оглянулся еще раз, но в полумраке его лица было уже не разглядеть.

...Потом Эд долго лежал на лавке, глядя в закрытую дверь. Мысли путались. «...Она разозлилась и отвесила ему по морде, а он ответил: могу пойти и рассказать князю, и он тебе... Вот интересно — сто чего она ему обещала? Гривен? Если гривен, то это, кажется, много, даже очень... (Зевнул — во весь рот, громко.) А мое появление она, похоже, поняла однозначно. М-да... (Повернулся на бок, прижимаясь спиной к печке.) Вот блин, а...» — «Дурак. Нужен ты ему. Да ты небось урод с их точки зрения. Как в тринадцатом веке, не знаю, а в послемонгольское время и до Петра на Руси ценились люди жирные. Чем толще, тем красивее. (Ерзал, устраиваясь поудобнее.) Кстати, если я урод, так и сам Рогволд тоже урод. Это в мое время ему бы в фотомодельный бизнес прямая дорога, а тут он, может, мужикам платит, чтоб спали...»

Во дворе, где давно слышались голоса, вдруг завопили хором. Он в очередной раз заставил себя подняться — с трудом. Шатаясь, подошел к окну и увидел внизу макушки толпы.

Чтобы выглянуть, пришлось встать на цыпочки и лечь щекой на заснеженный низ оконца. Посреди двора стоял давешний возок (по всему видать, только подъе-

ний — люди Рогволда, мчавшиеся лесом напрямик, обогнали его очень значительно), и двое в красных рубахах держали под узцы лошадей, а копье с флажком было уже воткнуто в снег, и один из всадников читал, растянув, свиток со свисающими на шнурках обломками печатей. Приглядевшись, Эд узнал вдову княжеского брата (вообще-то в летописи называлось ее имя, но Эд его не помнил). Вдова стояла в группке хорошо одетых на разостланном в снегу ковре, обнимая за плечи надутую девочку с торчащей из-под платка длинной светлой косой. Рядом мялся мальчик помладше — лет десяти, — тоже светловолосый, стриженый под горшок, в таком же, как у взрослых, расшитом — желто-зеленом — плащике с застежкой-бляхой. Мальчик вдумчиво ковырял в носу.

У возка откуда-то появился давешний усатый в собольей шапке. Фартук возка был откинут, и была откинута внутренняя, алой ткани занавеска (внутри у Эда опустилось и екнуло — он вспомнил алую тряпку, почудившуюся ему на снегу в момент, когда подобрал он те проклятые бусы). Из темноты свесился угол ковра — багрово-белые узоры, длинная бахрома, — и сейчас же показалась женская нога в тупоносом кожаном башмачке. Усатый поспешно подал руку — женская рука в складчатом, стянутом на запястье шнурком рукаве вцепилась в его пальцы, показалась вторая нога — голая, юбки сбились где-то выше. (Толпа притихла, глядя во все глаза. Крупные снежинки садились на разноцветные платки, шапки и волосы. Эд высвободился (кажется, ободрав ухо), торопливо потерся онемевшей щекой о плечо, покрутил затекшей шеей и лег в щель уже другой щекой. Прямо под

ним какая-то девица в кокошнике подпрыгивала, хватаясь за плечи стоящих впереди мужчин.) Торчащие из возка ноги дергались, силясь поправить юбки. Наконец вынырнула голова. Приезжая неловко соскочила на подсунутый ковер.

Они все-таки были достаточно близко, чтобы он мог разглядеть. И он разглядывал.

...Мелко-мелко складчатый, будто гофрированный белый подол, торчащий из-под вышитой каймы на подоле покороче. И тяжелый, подбитый мехом, но короткий плащ негнущейся золотой парчи, в который она куталась — а плащ застегивался почему-то так низко, что в вырезе виднелась бляха, служащая застежкой еще чего-то, а из-под этого вишневого чего-то виднелись еще две бляхи — здоровенных, в ладонь, овальных, удерживающих нечто на лямках... Видел утонувшие в меху пальцы, которыми она стягивала плащ на груди, и склоненную голову, распущенные волосы — почти до колен... Усатый торжественно поднял ее руку и повернулся, точно демонстрируя свою спутницу толпе. И тут она подняла голову и, Бог ее знает зачем, взглянула вверх, на окно Эда.

Глаза ее были синими — густо-синими. Ненатурально чистый и яркий цвет анилиновой краски. И синеватыми были белки, и темными — тени вокруг глаз («глаза с поволокой»), а ресницы — длинными, темными и лохматыми... Впервые в жизни он встретил большие глаза, которые показались ему красивыми. У нее вообще был не тот тип внешности, какой ему нравился, у нее были тонкие губы и скорее квадратное лицо, но...

Будущее

— То, что ты хочешь мне сообщить, — жестко начала бы Галка, — в цензурной форме звучит так: «Я люблю другого человека». — И, не сводя трагически накрашенных глаз, решительно закончила бы: — Я для тебя недостаточно сумасшедшая.

Струйки дождя на стеклянной стене «Макдоналдса» — вероятно, это происходило бы в «Макдоналдсе», нашем любимом, на Ваське...

«Что?» — должен был бы я спросить, но я бы ничего не спросил, и она, любительница анализировать, продолжала бы:

— Комплекс качеств, которые тебе нравятся в людях, слишком тесно связан с очень определенными свойствами психики. — И перламутрово-коричневые губы усмехнулись бы. — Я теперь очень хорошо понимаю Веру.

— Если бы Вера была обо мне такого уж плохого мнения, она бы, наверно, не доверила мне ребенка.

— Ребенка она доверила твоим родителям. Можно подумать, ты занимаешься своим ребенком.

И мы бы замолчали. И, глядя на дождь, я думал бы не о ней.

Волосы. Губы. Глаза... Я не виноват, Галя, правда. Сам не знаю, как это вышло. «Почему вообще люди влюбляются?» — «Потому что не было у бабы заботы — купила баба порося».

...И долго капли стучали бы по крыше, а потом она сказала бы:

— Знаешь, что у вас на самом деле общего? Вам обоим никто не нужен. Вы только трахаться не умеете

каждый сам с собой, а во всём остальном вы абсолютно самодостаточны. И вы друг другу — только для этого... Я буду с интересом наблюдать за развитием событий, — и поднялась бы, отставив недопитый коктейль. Ванильный, как всегда...

И ушла бы. А я бы остался за столиком — глядеть на мокрую улицу за стеклом и думать о своем.

Губы. Плечи. Ноги. То, что между ног, кстати, тоже. Запах кожи... Я дурак. Неужели ты думаешь, что я сам этого не понимаю?

И — обращаясь уже не к Галке: «Но ведь я, наверно, все-таки люблю тебя, малыш. Наверно, это все-таки так называется...»

И стекали бы по стеклу равнодушные капли.

Настоящее

...Но она была красива. Безусловно. Красива, привлекательна, желанна... где-то... Черт. Он ведь знал, он ВИДЕЛ... Она была очаровательна, когда робко улыбнулась толпе — и сейчас же снова опустила ресницы, у нее горели щеки, даже уши горели — даже отсюда было заметно... а он смотрел на ее улыбку и вспоминал череп, который они передавали из рук в руки, дивясь ненатурально ровным зубам. И как Витька обмахивал череп кисточкой — и под отпадающими чешуйками сохлой грязи открывалась неровная, изъеденная временем иссера-желтоватая поверхность. И забитые глиной глазницы...

Я знаю, что там, под кожей лба, на который спускается сейчас побрякушка на цепочке — а как легко спал с черепа ставший слишком широким золотой обруч, наша самая ценная находка...

Он смотрел, как она двигается — вот она идет, князь (наверно, это князь все-таки, жених) ведет ее за руку, ломкие складки золотой парчи, волочится по затоптанному снегом ковру гофрированный подол нижнего платья... Распавшиеся ребра — обломочки плоских изогнутых костей (никогда не думал, что реберные кости в сечении не круглые)... И косточки некогда сложенных рук — правое запястье перерублено. И как авторитетно рассуждал Дядя Степа, жестикулируя скребком: она, должно быть, рукой закрывалась от убийц... или защищалась... А вот след орудия убийства — царапина на ребре, видите? А вот царапина на позвонке, здесь лезвие вышло...

А вот, спиной к окну, и сам несостоявшийся убийца — если и не прямой исполнитель, то руководитель и организатор. Русые свалявшиеся пряди на кровавом плаще. Рогволд стоял совершенно спокойно — имея, надо думать, на лице приличествующую случаю верноподданническую мину... Нет, не имея. Когда он повернулся, чтобы вслед за князем с невестой, вслед за хмурой вдовой-заказчицей и детьми идти в дом — ничего верноподданнического не было в его лице. Была совершенно откровенная неприязненная насмешка. И когда князь в дверях оглянулся — они явно встретились глазами...

А у них плохие отношения, думал Эд, глядя в проконопаченную мхом бревенчатую стену и поочередно яростно трясь онемевшими ушами о плечи, о жесткую ткань чужого плаща. Отвратительные, судя по всему, отношения... Что и немудрено — если, конечно, летопись не врет.

Грубая коричневая ткань почему-то пахла жженым сахаром. Леденцовыми петушками из детства.

2. Падал прошлогодний снег

Во дворе стало совсем сине. Забор — темная зубчатая стена в голубом снегу. Вдоль забора прохаживались черные фигуры с копьями — стража, надо думать.

В комнате было еще темнее — лавку Эд нашел почти ощупью. Устроился, привалившись к печке. Закрыл глаза. Он забыл, оказывается, как выглядит ночь без фонарей — да и часто ли он вообще ее видел? Он ведь никогда и нигде не воевал. Это только громкое название — десантник, но совсем не с врагами дрался он в армии...

А вот с этого милиция и начнет. Гауптвахта за попытку побега и штрафбат за избиение старшего по званию; меня приковали наручниками к батарее, и я отбивался ногами, а в это время бедная моя мама металась по инстанциям и комитетам солдатских матерей — и ухнули в перспективу семейные надежды на расширение жилплощади путем обмена с доплатой, зато меня признали-таки негодным по состоянию здоровья — по якобы найденной задним числом справке о якобы имевшей место в детстве травме позвоночника. А потом цыганистый Богдан, один из немногих, с кем я хоть както общался, в единственном своем письме написал, что на самом-то деле часть перекрестилась, избавившись. Потому что майора-то тоже чуть не комиссовали по состоянию здоровья — только взаправду, понимаешь?

...И опять он пропустил момент, когда отворилась дверь. Отсутствие навыков узника — ничего, скоро приобретешь...

В дверях толпились: усатый князь, оказавшийся вдобавок бритоголовым — с единственным, как у запорожского казака, клоком волос на макушке; бородатый не то священник, не то монах — в черном и длинном, в остроконечном капюшоне-клобуке и с крестом на толстой цепочке; еще один, опять-таки не то монах, не то священник, но явно католический — должно быть, из приезжих, — со щетинистой тонзурой, в длинном коричневом, подпоясанном веревкой, и тоже при кресте; Рогволд в том же подбитом мехом плаще; двое стражников с факелами.

Эд смотрел молча. Он как-то враз и с новой силой ощутил, что в помещении, как ни крути, холодно; что скрученные руки давно перестали болеть — судя по всему, онемели, и пора принимать срочные меры, а то можно и без рук остаться; что, вообще, пора бы и жрать, в конце концов... Жмурясь, он глядел на освещенных пламенем факелов разномастных служителей культа, и внутри у него стало зябко. Сейчас будут проверять, не нечистая ли я сила. Из способов проверки вспомнился обычай бросать ведьм связанными в воду и смотреть, всплывут ли. Причем если уж всплывет — значит, точно ведьма...

Рогволд говорил, обращаясь ко всем троим. Видать, рассказывал. Слушатели косились, но смотрели на пленника.

— Да христианин я, — сказал тот — жалея, что никогда, кроме как в школе для понту, не носил креста.

Рогволд осекся. Все глядели на Эда. На княжеском воротнике поблескивали выложенные из самоцветов цветы и треугольники.

Наконец бородатый поднял крест и шагнул вперед. Эд дернул руками. Лучшим вариантом было бы закреститься самому, да нечем... Да они и крестились-то как-то не по-нашему... Попик полез свободной рукой в вырез рясы и вытащил пузерек. Торопливо раскупорил. И вдруг плеснул в Эда — тот, зажмурясь, отшатнулся.

Разлепив мокрые ресницы, оторопело встряхнул головой. Шестеро смотрели во все глаза. Помедлив, Эд слизнул попавшие на губы капли. Без запаха. Без вкуса. Вода, похоже. Святая вода...

Что-то сказал Рогволд. Что-то, как показалось Эду, опять-таки явно насмешливое, типа: не сгинула нечисть? Толстый попик снизу заглядывал Эду в лицо. Лохматая борода, сбоку подсвеченная огненным, вгляд дикий — типичный бесноватый раскольник в дешевом историческом фильме.

Посверкивали в свете факелов летящие из окна снежинки. Трещало, колебалось пламя, шатались гигантские тени. Ток горячего, пахнущего дымом воздуха перебивался холодными чистыми струями. Плавилась тишина. В молчании второй монах наспех перекрестился и, растолкав стражников, ушел в темноту коридора. Простучали, удаляясь, шаги (было похоже, что башмаки у святого отца с деревянными подметками), а потом вдруг оборвались жестяным грохотом и звуком падения тяжелого и мягкого. Донеслись сдавленные нерусские слова. Младший из стражников, рыжеусый и веснушчатый, прыснул в рукав. В коридоре возились — судя по звукам, поднимаясь и потирая бока.

Попик что-то шептал князю в ухо. Князь ответил коротко — и, отстранив его, подошел к Эду сам.

Он был ростом, наверно, с Рогволда, — ниже Эда. Но, что называется, кряжистый мужик — и еще шире казался из-за жесткого, во все плечи воротника, на котором поверх вышивки разложена была узорная цепь с круглыми подвесками. Волосатым пальцем в кольце князь указал на Эда и, густо дыхнув, что-то сказал. Рыжеусый стражник бочком выбрался из-за спин. Переложив факел в левую руку, правой вытянул из ножен на поясе кинжал — узкое длинное лезвие блеснуло оранжевым. Стражник взял Эда за плечо и развернул к себе спиной.

Эд не сопротивлялся. Он устал. И почему-то был уверен, что резать его не будут. Не было такого обычая убивать непременно в спину. А захотят — зарежут и спереди, вчетвером-то...

Он не почувствовал, как распались веревки. И своих освобожденных рук не чувствовал тоже. Деревяшки. Князь что-то говорил — Эд не слушал, ногтями поочередно царапая запястья. Руки опухали на глазах.

Его взяли за подбородок. Вздернули голову. Усатое лицо показалось недоумевающим. Он что-то спрашивал, кажется...

Не понимаю, — сказал Эд.

Ему очень хотелось рискнуть жизнью и отвернуться, чтобы князь не дышал ему в лицо.

Потом кое-что до него все-таки дошло. Он ткнул распухшим пальцем себе в грудь.

Эдвард.

Наступила тишина. Князь неуверенно повторил его жест и разразился новой фразой — Эд больше даже не

пытался улавливать знакомые слова. Дождавшись паузы, он ткнул пальцем в единственного человека, чье имя знал наверняка.

— Рогволд. — И — снова на себя: — Эдвард.

Кажется, они поняли. Во всяком случае, переключились на Рогволда — выясняя, видимо, откуда схваченный бродяга знает его имя.

Потом успокоились.

— Эдвард, — повторил князь удовлетворенно и тут же задал новый вопрос — но, уже не дожидаясь ответа, сделал жест стражникам и пошел из комнаты.

Эда подтолкнули следом. Через несколько шагов он споткнулся о то же, по-видимому, ведро, что интурист двадцатью минутами раньше — только Эда держали под руки, и он устоял на ногах. Ведро отлетело в угол — где, опять-таки по-видимому, бывало и прежде и оставило после себя лужу, уже подернувшуюся льдом, как молоко пенкой. Обернувшийся князь закатил глаза.

По коридору шли гуськом — впереди старший стражник с двумя факелами, за ним князь, священник, Рогволд, Эд и последним — рыжий стражник-конвоир. Шли долго. Отсыревшие задники кроссовок натирали ноги. В дрожащем свете искрилась изморозь на стенах. Под ногами хрустел ледок. «Жилье, — оскальзываясь, злобно думал Эд. — Недаром они поголовно спали на печах...»

А дома сейчас вечер, думал он. Солнце еще не село. Теплынь. Отец новости какие-нибудь смотрит по телевизору — меня еще не хватились...

Крупный рыжий таракан заметался под ногами, и шедший за Эдом стражник растоптал его сапогом.

Будущее

...брехня. И ты сам это понимаешь. Что значит «с собой»?

Ладно, отложим страхи за судьбу цивилизации. Хорошо. Но это сейчас ты видишь черные ресницы и золотые локоны, а все остальное — прекрасная загадка. А потом оно выучит язык... язык-то оно выучит, не сомневайся... и начнет ляпать глупость за глупостью. Потому что даже здешний интеллектуал дурее самого дурного пэтэушника, а интересующие тебя личности не интеллектуалы, отнюдь.

Эдик, будем разумны. Тебе это надо? Объяснять, что Земля не плоская, что трамвай не чудовище, что не магическим заклинанием «Где, блин, тут этот чертов выключатель?», сопровождаемым ритуальным тыканьем в стену, освещается темная комната... Период социальной адаптации, плюс адаптация к нашим микробам, воздуху, воде... и все эти адаптации имеют свои пределы, потому что чудес не бывает... Любовь приходит и уходит, а... Сам понимаешь. Тебе так неймется оказаться в роли опекуна Агафьи Лыковой?

«И пусть можно, в конце концов, вколотить краткий курс истории и азы арифметики...» — «Какая арифметика, болван! Попробуй вбить теорию строения галактик в голову, которая всю жизнь полагала, что земля стоит на трех китах!» И Бог, в конце концов, с ними, с галактиками, не в них счастье, — но это интеллектуальный уровень табуретки и ее же кругозор.

Ты взвалишь ЭТО себе на голову и будешь кормить и содержать до скончания дней, потому что выкинуть в

мир человека без документов, без образования, без специальности... И даже если документы, допустим, можно сделать, — все равно... И даже пересадить это свое приобретение на чью-нибудь чужую шею ты не сможешь, потому что если на физические данные и найдется много желающих, то едва раскумекав, в чем дело, любой потенциальный спонсор его, приобретение, упечет в сумасшедший дом.

...Ты сам хотел бы остаток жизни прожить в их мире? Лучше сразу удавиться. Если бы ты сейчас точно знал, что все, никак, это навсегда... Так что дает тебе основание считать, что любой из этих ребят будет счастлив, очутившись в мире твоем?

Настоящее

Помещение. Опять бревенчатые стены и дощатый потолок. Пузатые столбы подпирают потолочные балки. Длинные резные лавки, длинный стол под скатертью — белой, с широкой расшитой каймой. На стене, над угловатыми спинками двух кресел во главе стола — оружие. Щит посреди, а вокруг — колчан, топоры, копья... Под потолком Эд с недоумением обнаружил нечто вроде люстры. Потом вспомнил — это называлось «паникадило». Темная, вся в восковых потеках, люстра заметно кренилась набок. Из множества свечей пока горели четыре. В Эдовых глазах огоньки расплывались звездами.

Посуда. Классические, памятные по мультфильмам расписные утицы с мочеными яблоками, еще ка-

кие-то горшки — глиняные, корявые... Было несколько вещей, которые его заинтересовали. Металлический кувшин на звериных лапках, с откидной крышкой в виде человеческого лица; бронзовая, кажется, чаша — внутри сплошь мелкий узор... Поразил княжеский — явно княжеский — кубок. Золото и цветная эмаль — люди и птицы, тончайшая ювелирная работа, а на остроконечной крышечке и высокой ножке — жемчужные ободки. Произведение искусства, екэлэмэнэ, такое и у нас не запросто сделают... Рядом ложка — резная шишечка на конце ручки, серебро, позолота и чернь... и на донышке, среди эмалевых цветов — латинская надпись «Ave Maria». А не один Рогволд, похоже, живет грабежом...

Кубок сопру, думал Эд, разглядывая растрескавшиеся лепешки на деревянном блюде. И как они это жрут?.. Нет, кубок сопру, и будь что будет. А может, и ложку... И кувшин с лицом...

От стола его оттащили, и он обнаружил на скамье перед собой пустой горшок. Князь обратился к стражнику — тот вынул меч и протянул Эду. Князь показал — ребром ладони рубанул в воздухе над горшком.

Эд взялся за прохладную деревянную рукоять. Как браться, он видел по телевизору и вообще представлял, и тем не менее сзади хихикнули. Он не оглянулся. И тут же криво ухмыльнулся сам — поняв, что ощущает себя рыцарем накануне подвига. Славный бой с горшком... Проверка на профпригодность.

Подвигал мечом, примеряясь к его тяжести. Ладони было не то чтобы удобно — нормально. Выемки для пальцев, наверху — шарик с золотой заклепкой. Эд перехватил рукоять двумя руками. Поднял, занося (сам

себе показавшись похожим на палача в кино). На гранях лезвия ломались отсветы.

И отчего-то смешался — ужаснулся внезапной неуправляемой целеустремленности метровой заточенной железяки. А если по ноге?.. Остановить, удержать, не надо...

Ему едва не вывихнуло кисти. Меч упал криво, задев лишь край горшка, горшок слетел и раскололся, ударившись об пол. Вокруг хохотали. Хохотал сам князь, брызгая слюной, — оказалось, что справа у него не хватает клыка; хохотал попик, прикрываясь широким рукавом; задыхались и всхлипывали стражники, и даже тени тряслись на стенах. В этом мире можно не владеть оружием виртуозно — но чтобы не владеть совсем... Эд молча положил меч на скамью — поскольку рыжий владелец обеими руками зажимал живот. И, обернувшись, увидел лицо Рогволда. Рогволд не смеялся. И выражение, с которым он смотрел, показалось Эду почти человеческим.

А потом отдышавшийся рыжий убрал меч, а отдышавшийся князь, вытирая глаза, другой рукой подтащил скамью и уселся, глядя на Эда. Поскреб в затылке. И снова что-то спросил.

— Не понимаю, — ответил Эд.

Впрочем, он, кажется, понял. Они пытались выяснить, кто он такой — заодно, возможно, ища ему применение. Не владеет мечом, вообще не владеет — это их шокировало, но ведь что-то же человек должен уметь?

Он огляделся. Ничего подходящего вокруг не было. Столовая... как это у них... трапезная. Пиршественная зала. Свадебный пир. В простенке между окнами, под оленьими рогами, висят гусли...

Он прошел через залу и снял их с крюка. Его не удерживали. Он стоял и вертел в руках странный треугольный предмет.

Колки. Восемь струн — должно быть, из жил, тьфу... Одна сторона деревянной рамы широкая, одна — поуже, третья — совсем узкая. По широкой стороне роспись — красные на бело-голубом фоне звери с львиными туловищами, воробьиными крыльями и головами... головы похожи на тюленьи, но с птичьими клювами, почему-то зубастыми. Грифоны, надо полагать.

...Почему все-таки я ничего не испытываю? Не то что восхищения и умиления — вообще ничего. Неумелый рисунок, руки у художника росли не оттуда, львов он не видел и грифонов не представлял, зато воробьев явно знал хорошо... В любом детском художественном кружке залежи таких досок... Может, это оттого, что всегда я был равнодушен к народному творчеству?

Он дергал струны распухшими пальцами, пытаясь провести аналогию с гитарой. В тра-ве си-дел куз-нечик... Пел о тройке поручик у воды Дарданелл.

Э, — сказали сзади.

Он обернулся; подошедший князь восторженно хлопнул его по плечу.

Венчания Эд не видел. Насколько он помнил Витькин план, в домовую церковь вели внутренние переходы — но он все-таки торчал у окна и отошел, лишь сообразив, что зрелище не стоит воспаления легких, зато воспаление легких здесь явится смертным приговором.

А лихо это у них, подумал он о новобрачных. А чего им тянуть, ответил сам себе, вытягиваясь на лавке и закладывая руки под голову. (Руки, кажется, оклема-

лись.) Выжидать, лучше узнавать друг друга... У них выбора нет — политический брак. Ему еще повезло, что невеста красивая... правда, он, может, вовсе так не считает. А ее, небось, и вообще никто не спрашивал...

А вот хорош бы я был, если бы из политических соображений женился на Верке. Например. А ведь Верка — далеко не худший вариант, одно время мы были прямо-таки влюблены... А потом ушел бы от нее к Валерке. «А ты бы никуда не ушел, — строго сказал внутренний голос. — Ты умненький. История знала случаи, и эти случаи кончались так плохо, как ты затруднишься вообразить. Так что сиди тихо и благодари Бога, что родился в либеральном двадцатом...»

Он рывком сел, упираясь кулаками в лавку. Нет, так нельзя. Это же какое-то непрерывное самоистязание. Каждая мысль... Так я тут свихнусь. «А ты все равно свихнешься. У тебя есть воображение. Тот, кто жил во дворце, не захочет жить в свинарнике».

Эд замотал головой. «Ну ладно. Я знаю несколько человек, которые знают место, где я появился...» — «И что тебе с этого места? Ты там полчаса бился, дыру в снегу продолбил чуть не до земли...» — «Ну...» — «И не нескольких человек ты знаешь, а одного. Ну, может, еще желтобородого узнаешь при встрече...» — «Хорошо. Пусть один. Рогволд знает дорогу...» — «И не покажет он тебе ее, даже если бы хотел этого так же, как ты. Ты как мыслишь ему объяснить, чего тебе от него нужно?»

Уставясь в темноту, Эд кулаком тер лоб. Лес, дорога, поле... «Поле» — это еще из Игоря и Ольги... поляне, древляне... «Нашли» — тоже ладно, кажется, даже имя такое было — Найдена... «Меня»! Ну-ка? «Мя»?..

Когда явился рыжий стражник с охапкой одежды — надо полагать, чтобы пленник, если уж суждено ему петь на княжеском свадебном пиру, хоть выглядел бы не столь противно, — Эд лежал на лавке ничком.

Посадили его на отдельную лавку, под рогами и крюком, где раньше висели гусли. Кормить музыкантов, по-видимому, не полагалось — оставалось, сглатывая, смотреть на жующих, глотающих и грызущих, внимая стуку ножей и хрусту дробимых зубами костей. Он внимал, размышляя о том, что не ел с утра... ну, с ихнего дня, значит... Господи, утро... Он мотнул головой, отгоняя картинку: солнечные квадраты на гостиничных стенах, красную в белый горох скатерть, бутерброды с сыром... и кипятильник в стакане, и Галку в желтом халатике... Мы торопились на автобус...

Механически теребя струны «Кузнечиком», он разглядывал растопырившуюся на металлическом — возможно, серебряном — блюде птичью тушку с воткнутыми в зад перьями. Перья были, похоже, гусиные — должно быть, гусь замещал недоступного ввиду зимнего времени лебедя. (И снова сбился, стал думать о том, что вот и условия, ставимые временами года, для них непреодолимы — коли улетели лебеди в теплые края, так там их не достанешь; а парниковая клубника, а бананы, которые везут с другого конца света... Да черт с ними, с бананами, — картошка, жареная, с салатом из помидор...)

Струны. Почему-то вспомнилось, как, мешая варенье в котелке над костром, распевала Диночка: «Цветут магнолии в Мона-ако...»

Плащ здорово мешал левой руке. В конце концов Эд сдвинул его так, что завязки оказались под горлом, и отбросил за спину. Ладно, спасибо и на том. Разбойничкам спасибо, что не отобрали плащ, князю — за штаны, сапоги и рубаху... И за эту штуку (покосился себе на грудь). По крайней мере, в более поздние времена это называлось кафтаном, хотя у этих, возможно, называется как-то иначе.

И не настолько он, Эд, оказался крупнее местных жителей — сапоги и те не слишком жмут...

...Потом он разглядывал еще каких-то птиц, помельче, расположенных вокруг гуся, и вспомнил, что древние римляне употребляли в пищу воробьев и голубей; и все это время он старательно избегал встречаться взглядом с Рогволдом. А тот, будто издеваясь, щурился поверх тяжелого, с утопленными в резной металл камнями кубка. Он не сводил с Эда глаз — не стесняясь никого, и Эд подумал: вот этот, похоже, вполне способен распорядиться, чтобы ночью меня приволокли под конвоем...

На княжеском воротнике каплями блестели лунные камни. Нагнувшись к невесте — уже жене — князь рассуждал. В потоке слов Эд уловил знакомое — и сразу вспомнил. Ингигерд. Ее так зовут. Это было в той летописи. Датчанка. Ингигерд, дочь Олафа Кровавой Секиры...

А она не понимала князя точно так же, как он, и с табуреточки торопливо переводил козбородый и неприметный. Новоявленная княгиня на переводчика косилась, опустив голову, пониже сплошной брони бус взблескивал на цепочке большой, в ладонь диаметром

диск с ажурными лучами-треугольничками — стилизованное солнце, что ли...

К свадьбе невесту переодели в русское. Увешенные треугольными подвесками-косниками, лежали на груди косы. Качались серьги — здоровенные, едва не до плеч; качались круглые колты — височные подвески к короне, — только не на висках, а на щеках, потому что корона съехала на уши. Корона была та самая — оказывается, она была великовата княгине и при жизни. Даже поверх покрывала... (Он, собственно, не знал, как правильно называется эта штука — корона, венец или диадема. Полоса усаженного камнями узорного металла шириной сантиметров в пять.)

Но даже короны у них еще простые и удобные, куда им еще до романовских неподъемных митр...

Княгиня повернулась к мужу — сквозь дымчатое покрывало Эд видел профиль. Руки, лежащие по сторонам кубка. Сжавшиеся кулачки. Расплывающиеся блики перстней. Из широких рукавов верхнего алого платья вылезли узкие пурпурные — нижнего. Переодеть-то переодели, но цветовая гамма осталась прежней. Должно быть, до обычая одевать невесту в белое еще не дожили...

Щупленький переводчик уже некоторое время глядел на него, и Эд поторопился отвернуться. Играть он бросил — благо, никто и не слушал. Сидел, сложив руки на гуслях. Из-под стола, где грызлись, деля объедки, выбралась собака — крупная, черная с белым. Остановившись в шаге, понюхала Эдово колено. Словно нехотя вильнула хвостом, отошла и улеглась тут же в углу. Единственное, чего на пиру пока не хватало, это шутов. В роли шута выступал он один...

Люстра обросла восковыми сосульками, с нее капало, кажется, прямо в блюда. В окнах, за вправленными в свинец слюдяными ломтиками, за фигурными прорезями в досках ставен давно стояла глухая ночь. После пятой (он считал), последней, должно быть, перемены блюд даже слуги перестали метаться. На скатерти темнели пятна пролитого вина. Вислоусый мужик спал в огромной луже, обняв опрокинутый кувшин, а сосед механически кидал в него обглоданными костями. И пахло уже пОтом и блевотиной — кто-то уже корчился на коленях в дальнем углу, а над ним дежурили собаки, готовые подлизать...

Усатый толстяк, командир варягов, взгромоздив на стол ногу, поправлял башмак. Широченная, такая же мелкоскладчатая, как платье Ингигерд, штанина до колена вызывала смутные ассоциации с дворянским костюмом куда более поздних времен. Синяя татуировка, вылезшая из-под правого рукава, тоже наводила на мысли о будущем — только совсем о другом... (Машинально взглянул на пустое запястье. Часы его заставили снять — странный браслет с движущейся стрелкой вызвал у стражника подозрения.)

...А варяжский отряд, насколько Эд рубил в этих делах, должен был остаться — в качестве личной дружины княгини. Далеко еще до московских времен, когда по отношению к единовластвующему великому князю оказались рабами все, начиная с жены...

Очередной гость, шатаясь, прошествовал через залу, кулаком распахнул дверь на крыльцо и прямо на пороге принялся расстегивать штаны. Князь крикнул, махнув рукой, — упившегося выпихнули, захлопнув за ним

дверь. Через несколько минут он заскребся обратно — вполз на четвереньках, путаясь в спущенных штанах и оставляя мокрый след. По зале, плюс к прочим ароматам, распространился отчетливый запах общественного сортира. Княгиня прижимала к лицу покрывало. Однако князь уже утерял интерес к происходящему — подперев голову, подчищал опустевшее блюдо пальцами, меланхолично их облизывая. Под столом скандалила собачья свора.

Рогволд, привстав, через голову спящего соседа прошептал что-то князю на ухо. Князь, повернувшись, смотрел на него, сдвинув брови, — затем поднял руку и попытался щелкнуть пальцами. Что-то сказал подбежавшему слуге. Слуга, тощий, лет четырнадцати лохматый пацан, из того самого кувшина с лицом налил кубок и поднес Эду.

Кубок. В бороздках узоров серебро почернело, а выпуклости блестели, оттертые пальцами. В завитках чеканных цветов бежали, закинув головы, чеканные туры, и качалась в блестящем ободке краев бледно-желтая, прозрачная, в клочках пены жидкость. Что это может быть, интересно. Виноградное вино у них привозное, дорогое...

Медовуха. Скорее даже брага — полуфабрикат того, что в фольклоре гордо именуется «столетними медами»... Как пиво, но без горечи. И запах похож на пивной.

Он допил и отдал кубок. От меда в напитке не было ничего — ни запаха, ни вида, ни вкуса.

Почему-то все, кто еще мог сфокусировать взгляд, смотрели на него. Единственное развлечение...

— Играй! — махнув рукой, крикнул оживившийся князь.

От неожиданности Эд заморгал. Торопливо взялся за гусли. В тра-ве си-дел... Эй вы, гусельки, золотые струночки... Нет, так они мне скоро морду набьют. Он сделал каменное лицо, впопыхах стараясь припомнить хоть что-нибудь подходящее. Былину бы какую-нибудь об Илье Муромце... проходили же по литературе... Однако вспомнилась — и то смутно — лишь картинка из учебника: богатырь во взвившемся плаще, на тонконогом иконописном коне; и — сразу же — задымленная кухня, и Валеркины пальцы на струнах гитары, и забитая окурками пепельница на столе... Заря нашего романа, тогда я еще стеснялся запрещать курить в квартире... И Валеркин голос. Ладно, в конце концов. Тоже песни. Тем более, что былин я не знаю, а остальное им по незнанию языка все равно.

И он запел. Валеркину любимую, пиратскую:

В ночь перед бурею на мачте
Горят святого Эльма свечки,
Отогревая наши души
За все минувшие года.
Когда воротимся мы в Портленд,
Мы будем кротки, как овечки,
Да только в Портленд воротиться
Нам не придется никогда...

А если б знали язык, оказалась бы песня как раз для Рогволда... Он поднял глаза. Рогволд смотрел на него, жуя, и огненные отсветы шатались на его лице. Красивый же парень, блин... Сколько ему лет-то? А ведь немного. Наверно, меньше, чем мне. Лет двадцать... Двадцать один... Ладно.

Что ж, если в Портленд нет возврата,
Пускай купец помрет от страха...

И, по-детски вытянув шею, глядела Ингигерд — ему казалось, что он различает обручальное кольцо на руке, держащей кубок, и блеск распахнутых глаз, и как колеблются от дыхания ряды бус на груди (или это дрожат тени?) И он смотрел на нее, плюнув на все, смотрел — и видел скелет в гробнице, ряды бус на ребрах, и перерубленную кость запястья, а губы шевелились, выговаривая слова... Когда воротимся мы в Портленд, да только в Портленд воротиться нам не придется никогда, а внутри было пусто, и было трудно дышать, но они все слушали — все, кто еще что-то соображал, слушали, и он пел, не сводя с нее глаз. Когда воротимся мы в Портленд... когда воротимся мы...

Больше всего удивило то, что его даже не ударили. То ли бить за взгляды было еще не принято, то ли очень уж в цене были певцы. Даже такие. Во всяком случае, когда князь, решительно поднявшись, за руку потащил из-за стола новобрачную, а за ними полезли, теснясь, спотыкаясь и опрокидывая посуду (и скамью одну опрокинули-таки) и повалили к дверям остальные, Эда даже не взяли снова под стражу. Поразмыслив, он повесил гусли на крюк и двинулся следом. Мелькнула мысль — остаться, прислуга наверняка сейчас примется убирать со стола, и наверняка же будут доедать остатки... Но до этого он все-таки еще не докатился. У меня иммунитет не ихний, заражусь какой-нибудь дрянью...

И двери распахнулись в ночь. На крыльцо. У крыльца ждали — Эд не сразу понял, а потом, в давке как-то оказавшись прижатым к стене у самого выхода, увидел

внизу распяленные, кричащие рты, протянутые руки... и одно лицо оказалось совсем близко, почти под ногами, — с розовым лишаем в половину носа плюс часть щеки, со странно перекошеным ртом — и весь человек был какой-то перекошенный, тряслись худые руки... На меховом жилете — полотняные заплатки... И здесь юродивые, подумал Эд, и в этот момент нищий, безумно улыбаясь и что-то бормоча — по подбородку тянулась слюна, — ухватил княгиню за платье. Ингигерд завизжала, отшатываясь, вырвала подол, краем глаза Эд успел увидеть застывшее, с выпяченной челюстью лицо Рогволда, и сейчас же тот со всей силы ударил идиота сапогом в лицо. Княгиня взвизгнула снова; идиот, буквально отлетев, повалился навзничь — на толпу, и толпа, раздавшаяся было, сейчас же сомкнулась. Напирая, люди снова лезли вперед, на упавшего, кажется, немедленно наступили, и он завопил, ворочаясь под ногами. И вынырнул снова — весь в снегу. Лишай был в крови — заплывала кровью ссадина. Идиот плакал.

Над ухом у Эда что-то выкрикнули, и в поле его зрения появилась рука с развязанным мешочком-кошельком. Кошелек опрокинули над головами и еще встряхнули — посыпались корявые монеты. Началась свалка. Сзади захохотали в несколько голосов, и Эд обернулся. Гости простодушно веселились, тыча вниз пальцами.

А потом он увидел лицо Ингигерд. Она смотрела на Рогволда — снизу вверх, все еще прижимая платье на коленях. Смотрела с ужасом.

Ночью из щелей вышли тараканы. Первого, со стены над головой, Эд убил полотенцем, которое, потянувшись, достал с печки (при этом из полотенца выпа-

ли еще двое тараканчиков, поменьше, — всех трех он брезгливо стряхнул на пол). Следующего смахнул с подушки. Они не убегали. Они не были знакомыми ему запуганными спринтерами городских квартир — это были неторопливые, упитанные, уверенные в себе тараканы. Они брали количеством. Свесившись с полатей, он вглядывался — на полу чудилось мельтешение и поблескивание лаковых спинок. А ведь тут и вши небось, и клопы... Сел. На бревнах стены мерещились пятна — следы раздавленных насекомых.

Потом он все-таки лег, решив не думать о неизбежном. Повозился, устраиваясь поудобнее; повернулся на бок, поджимая ноги, натянул так и не отобранный плащ на плечо. Еще поерзал и вытянулся — ноги оказались на печи, вровень с полатями. Печь — беленый, в копоти параллелепипед без трубы, на высоком дощатом основании — кажется, оно называется «опечек». В опечке — две полки с горшками. И на выступах печи — чугунки, обросшие нагаром...

Печка грела. От овчины, на которой он лежал, пахло дубленкой. На закопченных, черных досках потолка — совсем близко, руку протяни и достанешь — лежали тусклые отсветы, и Эд с недоумением осознал, что свет этот, должно быть, лунный. А для него само это понятие было абстрактным, он, если разобраться, никогда не видел лунного света — всегда были фонари, прожектора, окна домов, фары машин, — и литературные упоминания о роли луны при побегах и свиданиях полагал романтическим преувеличением. Так, пожалуй, выяснится, что и звезды тоже освещают...

Сел, обняв под плащом колени. В двух крохотных окошках вздрагивала, вздуваясь под ветром, мутная плен-

ка — должно быть, знаменитый бычий пузырь, понял Эд с некоторым содроганием. (Мочевой? Желчный? Тьфу...) А повыше, под самым потолком, красовалась все-таки ничем не закрытая заснеженная дырка, и из нее все-таки дуло.

В помещении (он так и не понял, что это — вроде кухня, но и спят тут же) было душно и пахло съестным. Громко дышали внизу, где на первом ярусе полатей (его упорно тянуло называть это сооружение нарами) вповалку спали не то трое, не то четверо — слуги. Кто-то один храпел — тонко, с присвистом.

...Все-таки не избили, не связали, даже не заперли снова. Даже накормили (поморщился, вспомнив горшок с плавающими в мутном бульоне кусками вареной репы — сморщенными, долго, видать, репа хранилась, не исключено, что и сушили ее на зиму, — и деревянную ложку с обгрызенным краем). Чем, интересно, у них посуду моют? Песком небось трут, чем еще... Ладно. Будем надеяться, что больные при такой жизни вымирают.

Отсветы на потолке. Зато на полатях выделили отдельное место... (Принюхался — пахло не исключено, что той самой похлебкой. И дымом. Здесь повсюду пахло дымом, он пытался и не мог заставить себя игнорировать этот запах. Не угореть бы, на фиг...) Вообще, мне здорово повезло, что я не курю. Сейчас бегал бы по стенке...

Ну вот так все и пойдет. Днем я буду тренькать им на гуслях, выучу язык, сложу песню про великого и славного князя Всеволода да красавицу его жену... а по ночам мне будут сниться магнитофоны, унитазы и жареная картошка... и каждый мой шаг будет перекашивать

будущее, и я буду знать, что мира, в котором я когда-то жил, уже никогда не будет.

Снова лег, разминая ноющие запястья.

Хорошо. Давай разбираться. Ты должен сделать так, чтобы лет через пять к власти пришел тот белобрысый мальчишка, что сегодня на встрече гостей ковырял в носу. Чтобы он, в свою очередь, сделал так, чтобы эту часть Руси захватили монголы. Чтобы через семьсот лет вы раскопали скелет женщины, пригвожденный к полу избы кинжалами, вбитыми в запястья, а в бывшей соседней комнате, на бывшей печке — скелетики двоих детей, убитых рухнувшими балками... И кости двух девочек, что, должно быть, задохнулись, спрятавшись от пожара в потушенной печи. И братские могилы. А ты знаешь, что теперешняя Рязань, например, — совсем не та Рязань, которую разорял Батый, и расположена она от той за десятки километров? А того города, Старой Рязани, больше нет. И сколько их, таких городов?

«Ничего не знаю, — ответил он сам себе, уткнувшись в пахучую овчину. — Может, если все это изменить, будет еще хуже». С размаху стукнул по овчине кулаком. «А если не будет? Откуда хуже? Юг Руси останется цел!» Москва не поднимется, понял он, садясь снова. Не будет Ивана Грозного, опричнины, Смутного времени, Петра I... Глядишь, и сложился бы на Руси европейский тип государства... Да людей-то сколько не погибнет — мало тебе этого? Бог с ней, с Рязанью, ее уже не спасти, — но Киев, Чернигов... Еще полстраны!

— Не знаю, — прошептал он вслух — не удержавшись. — Ничего не знаю.

«И можешь никогда не узнать».

Он снова лег — с размаху упал затылком в подушку. Деревянный дом был полон звуков. Потрескивали, рассыхаясь, доски, что-то скрипело, что-то шуршало, из подвешенного на цепи к потолку странного сосуда — вроде чайника с четырьмя носиками — капала вода в деревянный жбан. Года через полтора у тебя полетят пломбы, и какой-нибудь местный костоправ повыдергивает тебе зубы ржавыми щипцами. (Вспомнил запах из княжеского рта — скривился.) У тебя плохое зрение. Ты будешь непрерывно простужаться — и болеть долго и мучительно, в соплях по пояс, с заложенным носом, температурой, больным горлом... (Тизин, вспомнил он. Санорин. Эритромицин.) И любая из простуд запросто сможет уложить тебя в землю. Тебе этого мало?

И еще. (Снова сел, упираясь кулаками в постель.) В мире, перекошенном до неузнаваемости, не останется места никому из тех, кого ты знал. Вернулся с войны жених, и невеста не вышла замуж за соседа; беженцы не поперлись в соседние области, где должны были осесть... И так — на протяжении столетий, наворачиваясь, как снежный ком... «Ну и что! Я-то здесь! Значит, и мои родители...» — «А может, это как раз доказывает, что ты сумел... сумеешь сделать правильный выбор. Это не твое дело — разбирать, лучше будет или хуже. Всегда сначала кажется, что будет лучше, а потом... Твое дело — сделать как было».

Да и так ли уж виноват наш предатель родины? Да достали бы они своего Батыя и сами...

Плевать мне на самом деле, лучше будет или хуже. Я хочу мир, где буду я!

Главное — не задумываться, сказал он себе, спуская ноги. «Ну куда ты прешься? Их там все равно двое, пер-

ная брачная ночь, у тебя даже нет оружия, князь — мужик здоровый, ты не справишься голыми руками, и в любом случае, пока ты будешь с ним возиться, она выскочит и позовет на помощь... Тебя убьют, и некому будет исправить то, что ты натворил!» — «Не знаю, — ответил он себе — уже зная, что не будет и пытаться. Сейчас — нет. — Я просто посмотрю». — «Что там смотреть, первая брачная ночь! Чем они еще могут заниматься?» — «Не знаю», — ответил он, завязывая тесемки плаща.

Бессмысленно. Совершенно безразлично, чем она занята — она разрушает его мир одним своим существованием.

Внизу храпели. Побоявшись спрыгивать, он лег животом на шкуру, ногой нашаривая край нижнего яруса. «По сюжету ее убил Рогволд!» — «А это еще неизвестно!»

И пока, присев на корточки, он воровато натягивал сапоги, всплыла неуместная догадка: вдовица ошиблась в выборе союзника. Рогволд не имеет права на титул — пока в семье жив еще хоть кто-нибудь из мужчин. Но если он останется ПОСЛЕДНИМ В РОДУ... Они не в равных условиях — взрослый волк и мелкий волчонок. И ход истории снова будет нарушен... А что Рогволд пройдет по трупам — это без сомнения.

Вспомнились крошки окровавленного снега, тающие на бессмысленном слюнявом лице. Человека, в котором такие поступки окружающих вызывают уважение, надо изолировать от общества. «А попробуйте», — злорадно предложил он кому-то, отдергивая ногу от скрипнувшей половицы. Перевел дыхание.

...Брезгливое лицо того майора: «Знаешь, парень, до сих пор у нас в части никого не калечили. Будешь первым». И бритый его затылок, когда он ничком лежал на полу, и как сладостно было — ногой в тяжелом кирзаче, ногой, ногой... Первым оказался не я.

Он поморщился, нашаривая, с позволения сказать, дверную ручку — оструганную чурочку на веревке.

...Когда-то трое пьяных гопников пинали его машину — путаясь в непомерных штанах и не по возрасту прокуренными голосами выкрикивая что-то насчет зажравшихся буржуев... И были вздернутые брови милиционера: «Ну ты фашист».

Никто не проснулся, когда он тихонько притворил за собой дверь.

Шел снег. Темный двор был пустынен. Испятнанные тенями, лежали сумрачные сугробы. Луна — круглая, яркая — сияла будто из воронки, из колодца подсвеченных облаков. В доме светилось прорезями ставен одно-единственное окно — над высоким крыльцом.

Эд плохо помнил их планировку, но, кажется, все хозяйственные помещения располагались все-таки на первом этаже. А на втором — спальни... Он поднимался, перехватывая перила. Стертые деревянные ступени под снегом обледенели. Лестница на крыльцо оказалась мечтой самоубийцы.

...Почему он сразу решил, что это их спальня? Единственное освещенное окно во всем доме... Холопам и приживалам наверняка не позволено зря жечь свет — но родня, гости... Зачем освещать комнату в брачную ночь? Чтобы молодожены могли разглядеть друг друга?

Ни почему. Не ломиться же во все спальни по очереди. Шанс. На свете многое случайно — вот если бы у меня однажды не сел аккумулятор в машине, мы с Галкой никогда не познакомились бы...

Резные столбы, поддерживающие крышу крыльца. Резные столбики перил. Под краем крыши — словно деревянная кружевная бахрома. (Вспомнилось, как в детстве он был поражен, впервые увидев на деревенском доме резные наличники. Кажется, до сих пор их помню... вижу... А теперь что? Ну, резные доски. У нас тоже так умеют; а еще говорят, что деградировали народные промыслы...)

Больше всего он боялся запутаться в плаще. А скинуть плащ было уже нельзя — во-первых, кроме него никакой защиты от холода, во-вторых — не бросать же на самом виду...

Крыша обледенела куда сильнее ступеней — по ней и оттепели стекала вода. Найдут поутру, подумал скрючившийся на перилах Эд, вслепую шаря рукой по поперечному бревну с краю крыши. Витька говорил, что это выдолбленная половинка бревна, водосточный желоб, — похоже, летом так оно и было, но теперь... Сплошная заснеженная груда сосулек.

От холода заныли пальцы — заболели нестерпимо; резная бахрома с краю крыши целилась в глаза...

Меховые рукавицы, — щупая, шептал Эд вдруг всплывший детский стишок, — чтобы мог он руки греть. Чтоб не мог он простудиться и от гриппа умереть...

Наконец нашел, за что уцепиться. За деревянный — кажется, из корня вырезанный — крюк, в котором лежал конец желоба. Теперь — одной рукой за крюк, другой — за конек крыши (пальцы утонули в снегу)... и

подтянуться... не дай Бог кого вынесет на крылечко подышать — услышат возню над головой... Впрочем, на этой мысли он не задержался — так же, как не мог думать о том, что сейчас, вот сейчас непослушные пальцы соскользнут с обледенелого дерева, и — навзничь, на снег и лед, два этажа... Ни о чем он не мог думать, кроме боли в руках, а руки просто отказывались держаться за такое жгучее, невыносимое, причиняющее такие муки... Коленом он стоял на груде льда в желобе, левой рукой держась за конек крыши. Желтые щели вокруг желтых прорезей-ромбиков светились впереди.

Не выдержав, выпрямился — теперь стоял в желобе ногами. Точнее, лежал на скате крыши, вжимаясь в снег потными лопатками, всем телом... (Если выживу — простужусь...) Теперь можно было не держаться — пока не соскользнет нога... Убиться — из-за одного предположения...

Засунутые под мышки руки, приходя в чувство, заболели еще сильней. Бедные мои руки сегодня... Он заставил себя повернуться к крыше боком. Снег холодил плечо. Из-за ставен доносились звуки, подсказавшие Эду, что предположение его, кажется, все-таки было верным.

(Еще раз. Ты добиваешься победы монголов. Ты отдаешь себе отчет в том, что делаешь?)

Окно было прямо перед ним. Свет из прорези-ромбика падал ему на живот. И только не обнаружив за ставнями шероховатой слюдяной непрозрачности, он понял, как ему повезло.

На что он рассчитывал? Из ума вон, что в их окна так просто не заглянешь... Но вот — повезло. Там, в

предполагаемой спальне, собственно оконная рама была приоткрыта. Эд представил себе гуляющий в комнате ледяной сквозняк, в который раз подивился выносливости аборигенов — и заглянул.

Будущее

Ингигерд.

...Нравлюсь я ей, что ли? (Нельзя быть таким самоуверенным, Эдик...) Да нельзя, я понимаю...

Один раз меня уже делили. («Мы делили апельсин...») Ох, как они старались, как они из кожи вон лезли, дружелюбные, без комплексов, молодежь нового поколения... И были Валеркины комплименты Веркиному пальто и Веркины консультации Валерке по поводу состояния моей сантехники; и были проводы до такси с поднесением сумок, а я тащился сзади и чувствовал себя полным идиотом...

А через два месяца от Веркиной однокурсницы Кристины, вообще бывшей тут ни при чем, я узнал о Веркиной беременности — и то случайно, просто переоценила наивная Кристина мою осведомленность, а Веркиной упертой гордости, напротив, не учла...

Настоящее

...Горела свеча на низком столике, и тени копошащихся на ложе людей были огромны. Ритмично двигалась блестящая от пота спина — человек стоял в постели на коленях, и напряженно тянулись закинутые ему

на плечи ноги. Кгм, подумал Эд. Первая брачная ночь. А чего ты ждал?

Но он все-таки не отступил от окна. Ноги его смутили — они были какие-то уж очень спортивные и вдобавок волосатые. Не так, чтобы очень, но явно. Как-то все это не вязалось с обликом нежной белокожей датчанки. Нет, если это она, то ох как правы были средневековые правители, не доверяя присланным портретам невест...

Спина со стоном откинулась назад — попавший из тени на свет затылок оказался рыжим, но Эд даже не успел удивиться. Ноги убрались с плеч стражника, и вынырнула встрепанная русая голова. Оттолкнув любовника, голый Рогволд потянулся к чаше на столе — там, оказывается, были две чаши и металлический сосуд... Он еще глотал, когда рыжий, кое-как собрав и напялив разбросанную у кровати одежду, пошатываясь, направился к двери — в завернувшейся на боку рубахе и перекрутившемся плаще, путаясь пальцами в завязках штанов... Сквозняк из открывшейся двери распахнул ставни — но рыжий, кажется, этого даже не заметил. Дверь за собой он притворил — но ставни от этого, конечно, не закрылись. Эд обмирал, вжимаясь в крышу. Потом сообразил — изо всей силы толкнул ставни обратно. Вроде ветром...

М-да, подумал он, вытирая лоб. Что же, вот на ЭТО у славян табу не было, как ни забавно...

Он переводил дыхание, когда окно распахнулось снова. Рогволд в меховой безрукавке оперся локтями о подоконник. Нет, он не заподозрил неладного — просто, утомленный, выглянул подышать воздухом;

но ему достаточно было чуть повернуть голову... Эд перестал дышать. Совсем рядом он видел прилипшую ко лбу прядь волос, и на голой груди, на шнурке, вместо креста — круглую металлическую бляшку с чеканным изображением... «Да он язычник. Если как половцы — тогда анимист, зверопоклонник. Тогда на бляхе должно быть изображение животного — тотема племени...»

Пахло пОтом. Даже на морозе, полупарализовавшем нос, Эд чувствовал этот запах. На голой груди поблескивали капельки. Вздумай он, Эд, когда-нибудь отколоть нечто подобное — назавтра он проснулся бы с крупозным воспалением легких.

На этой его мысли русая взлохмаченная голова таки повернулась. Глаза их встретились. Рогволд отшатнулся от окна. Эд мгновенно понял, кем он выглядит в этих глазах — убийца, профессиональный, умный, сумевший так прикинуться дурачком, что они все поверили... Если заорет — меня постругают в лапшу. Так глупо...

Рогволд вдруг ухмыльнулся. И сделал широкий приглашающий жест. Эд оторопел. Но терять было нечего. Видок у него сейчас — глупее мало есть куда, и не скакать же по крышам, спасаясь от погони...

Он перелез через подоконник. Рогволд стоял в нескольких шагах, спиной почти вплотную к увешанной оружием стене. Обнаженные ножи и меч в ножнах... Рогволд собирался защищаться.

Порыв колючего от снежинок ветра, мимоходом пробившись Эду за воротник, встрепал русые волосы. Под меховым жилетом — голая кожа... Что они здесь, к холоду нечувствительны?!

Не оборачиваясь, он ощупью захлопнул ставни. Рогволд молча смотрел. Раскосые щелки глаз странно сочетались с продолговатым лицом.

Эд отвел глаза. Тени трепетали на полу. Ноги. Бедра. И не только. Полы безрукавки разошлись — мальчик и не пытался их удерживать, ему плевать, и вообще он думает, что я пришел его убивать... Да и безрукавка была не такой уж длинной. Мальчик, блин... Ему действительно можно было бы сниматься для журналов. Хоть для простых, хоть для порно. Я думал, такую фигуру можно только накачать. И гордился, что сам только подкачиваю. А у них даже нет понятия «спорт»...

Босые ноги переступили на полу. Пониже левого колена Эд разглядел шрам — широкий, грубый, длинный... А его, небось, били в детстве, подумал он неожиданно. Ни матери, ни отца, незаконный княжеский выблядок...

Рогволд медленно усмехнулся. Взгляд сквозь ресницы... Странное ощущение стояло внутри пузырьком воздуха, и толчки сердца болезненно отдавались в горле. И ни одной путной мысли. Кровь отлила от Эдовой головы — и он даже понимал, куда. А хорошо все-таки, что у них длинные рубахи и широкие штаны...

И все это не помогло, впрочем. Взгляд Рогволда уперся в него — вниз, ниже лица и ниже груди, гораздо ниже (вот сейчас он усомнится, что я пришел его убивать)... и, когда Рогволд вскинул глаза, ухмылочка его сделалась кривой и откровенно похабной. Н-ну, блин...

А потом Эд сам переступил на месте. И случайно глянул на пол под другим углом. На полу виднелись

следы босых ног — потому что доски пола, оказывается, заиндевели. Эд содрогнулся.

Глаза. Усмехаются четкие губы — призывная гримаска порномодели... сошла. И во взгляде Эду вдруг почудилось что-то жалкое. Чего ему заигрывать — ЗАСТАВИТЬ с собой спать он может, но понимает же, что для большинства парней он не более привлекателен, чем лошадь или коза. Рыжий... когда хоть что-то испытывают, так не уходят. Выполнил человек служебный долг, тяжелый, неприятный, скорее всего... вымотался...

Босые следы на заиндевелом полу. У нас за этим парнем ходили бы табунами. И покрасневшие пальцы ступней. Он же просто сопляк, он выпендривается, ему, черт, так же холодно, как и мне...

Эд взялся за тесемки плаща. В конце концов, это просто эффектный жест, а эффектные жесты бывают полезны...

Он бросил снятый плащ на пол — к босым немытым ногам.

Прошлое

- Я, наверно, люблю тебя, — сказал он.

Они сидели на ковре, усыпанном опавшими иголками. Оплывала свеча в новогоднем, из ленточек и золоченых шишек, подсвечнике, и еловый скелет покоился на журнальном столике. Был март.

Галка на четвереньках проползла через комнату и уперлась локтями ему в колени. Снизу глядела в глаза.

3. Ромео и Джулиан

Наверно, это называется «прижился». Даже скорбная вдовица (теперь он знал ее имя-отчество — Светозара Мстиславовна) дважды зазывала его с гуслями к себе в светлицу. В первый раз, взглянув на обтянутый белым платком сытый вдовицын подбородок, на ярко-красные ее губы и ярко-голубые веки, он ощутил нехорошее подозрение — и по шаткой лесенке поднимался, прямо сказать, нога за ногу. Ну не нанимался он спать здесь со всеми — вне зависимости от пола, возраста и внешнего вида! Что они, сами между собой не могут?

Обошлось. Во вдовицыных глазах на нем, по-видимому, давно стоял жирный крест. Спускаясь по лесенке обратно в сени, он испытал первое за время пребывания здесь значительное облегчение.

В покои молодой княгини его звали только однажды — на другой день после свадьбы. Он честно попытался сообразить что-нибудь подходящее к случаю, про любовь — но ничего не вспомнилось. Ну не приходилось ему никогда петь серенады. «Не плачь, девчо-онка, пройдут дожди, солдат верне-отся...»

Рогволд петь не просил. То ли не интриговали его непонятные слова, то ли он вообще был к музыке равнодушен. А песенка про Портленд неожиданно полюбилась князю Всеволоду — и, усаживаясь с гуслями на лавке у окошка, Эд тарабанил к обоюдному удовольствию:

...ни Бог, ни дьявол не помогут
купцу спасти свои суда.
Когда воротимся мы в Портленд,

Клянусь, я сам взбегу на плаху,
Да только в Портленд воротиться
Нам не придется никогда...

И сытые, как вдовица Светозара, и похожие на нее даже выражением лица тараканы выползали из щелей послушать.

Ночами, уткнувшись в подушку, он повторял: хочу домой. Домой. Домой. Хочу к магнолиям Монако! Когда воротимся мы в Портленд?!

Он тосковал.

Любая хрень — то, на что не обращал внимания, то, что раздражало и злило — отсюда, из чужого и ненавистного мира, обрела ценность. Он валялся на шкурах, положив руки за голову, разглядывал пятна от сучков в потолочной балке и вспоминал; это было мучительно, как ковыряться в ране, но не вспоминать он не мог. Мазохизм.

...Плакат на тумбе у входа в офис — солдатик с полуголой барышней на коленях, внизу громадная надпись: «Дорогой мой суженый, вынь свое оружие!» При ближайшем рассмотрении плакат оказывался рекламой зубной пасты.

Телевизор. Отцовская спина на фоне экрана и материн нервный голос: «Сережа, да выключи ты эту говорящую тумбочку!» Витрины ларьков, забитые пестрыми коробочками компактов, скрипучие полы универма, кетчуп и как его размазывать по хлебу... Экспедиции, работа — все это ерунда на самом деле, но...

Глядя в окно, вспоминал, как накануне отъезда шел по Садовой. После дождя; мимо с рычанием катили

легковушки и грузовики — облака выхлопов, вонь... Обогнавший его «жигуль» на повороте выпустил такое, что Эд задержал дыхание. Отсыревшие пятна на стенах домов, кривые разбитые тротуары... Каким прекрасным все это теперь кажется. Я, по-моему, даже выхлопные газы вдыхал бы сейчас с наслаждением. И плевать, что в крови у меня свинец, в мозгу асбест и ртуть в костях.

...Нет, не плевать, конечно. И не вдыхал бы с наслаждением. Но из города можно уехать. Из времени не уедешь, из времени можно только выжить, а семьсот лет не прожить никому.

За окном шел снег.

Любови любовями. Нельзя же смыслом своей жизни сделать чужое тело. Даже очень красивое тело...

Чужое тело бродило по комнате. Иногда валилось на ковер; иногда подсаживалось на край ложа и подолгу молча смотрело. Последние дни оно было очень тихим — кажется, что-то понимало. Эд был благодарен.

...Зеркальные стены небоскребов. Статуя Свободы. Серая кошка на ступенях подъезда. Мир виделся ему составом, сходящим с рельсов — и казалось, что он, Эд, должен кинуться и руками удерживать опрокидывающиеся вагоны.

...Он хорошо ее представлял. Почему-то. У нее были русые волосы и, должно быть, не слишком скуластое и не слишком плоское, а довольно правильное лицо. И, как все местные женщины, она носила подвески в косах и длинную рубаху... и, должно быть, как княжеская любовница — башмачки...

Она жила в этом доме — приживалкой; за ней следили, ее пытались запирать, но она все равно убегала и бродила по поселку... Как она улыбалась — совершенно по-детски и совершенно безумно, вытянув шею и склонив голову к плечу, всматриваясь расширенными несмеющимися глазами... Однажды, в ноябре или начале декабря, когда еще не выпал снег, но вода уже начинала замерзать, она сорвалась с мостика через ров под стенами княжеского жилища. Подскользнулась на заледеневших досках; или оступилась; или прыгнула сама — может, и вправду хотела утопиться, а может, уже перестала понимать, чем зима отличается от лета. Ее успели вытащить — она сгорела в горячке, в несколько дней...

В какой-то из этих комнат осталась качаться раскрашенная люлька с ее ребенком.

Мать — пленная половчанка. Откуда у ее сына варяжское имя? Да еще вроде как и с ошибкой... Тезка его, папаша небезызвестной Рогнеды, вроде во всех летописях Рогволод.

А может, правильно как раз у этого. Черт их разберет. В конце концов, русские во все времена искажали иностранные слова, всобачивая в них лишние гласные, а не наоборот.

Над крышей кружила ворона. Села на край, где уже сидела еще одна. И еще одна прилетела и села... Он опустил голову.

...Второго племянника Всеволода, будущего князя Юрия, все зовут Судиславом. Его сестру Анну — Добронегой...

Думалось не о том. Ерунда лезла в голову — что толстую кухарку зовут Малушей, белого кобеля — Брехом; а групповушка на здешнем церковном языке — «свальный грех». Рогволд, по слухам, дружинников к себе таскал и по двое и по трое...

Ветер пробирался под шапку, и за ворот, и за пазуху. Сухая поземка заметала следы. На ступенях крыльца сидел желтобородый стражник и перематывал портянку.

Эд отвернулся.

Они еще ничего не знают. А монгольские полчища уже покинули родные степи, и уже трусит по миру черный с белыми гривой и хвостом конь Чингис-хана, возомнившего — не первым и не последним — что вся земля под солнцем слишком мала, чтобы иметь больше одного владыки. А они ничего не знают. Не знают, что те из них, кто протянет еще десять лет, будут убиты, и дети их будут убиты, и все их поселение будет стерто с лица земли...

Летел снег. В сером небе — пронзительно-белые скаты крыш и темные дымы... А тучного командира варягов зовут Тостигом. А кличка у него — Хардрааде, Жестокий...

Сплюнув, Эд прошел мимо стражника — наверх, в дом.

...А на костях у них поперечные полоски — тоненькие такие, светлые, как-то по-научному называются... кольца кого-то. Они все тяжело и часто болели в детстве — тогда рост организма замедлялся, и вот там, где костная ткань прекращала расти, а потом начинала снова, и остается такое, более светлое «ко-

лечко». Привет от цинги, авитаминоза и туберкулеза, и прочего, и прочего...

Взять на руки и унести. И плевать на все. Не хочу, чтобы у тебя была цинга и сросшиеся зигзагом переломы... чума, оспа, холера, монголы в радужной перспективе, да одни любящие родственники чего стоят...

...Искрилась наледь на окне. И были золотые искорки в разметавшихся по подушке волосах — немытых, свалявшихся, потемневших... Все равно.

Он мог подолгу смотреть на это лицо. Вот так, ночами, когда таяла свеча в серебряном подсвечнике и шуршали тараканы — когда оно, лицо, не принимало выражений и не корчило гримас, когда челюсти не жевали, демонстративно и хамски, с чавканьем, посреди княжеского совета, глаза не щурились, обещая кому-то большие неприятности... Не в том дело, он уже любил все эти гримаски (гримаски! не хрю себе...) — просто так было спокойнее. Спящие безопасны, когда спят зубами к стенке.

Отсветы. Бюсты и мозаики в альбомах по искусству, учебники и энциклопедии — у него и раньше не было впечатления, что люди здорово изменились за тысячелетия. Менялись каноны... Но он не мог поверить, что можно не считать красивыми эти равнодушно надменные точеные черты.

...А иногда, не успевая остановиться, начинал думать о другом. О том, что под этими бровями — надбровные дуги; веки, губы, нос, кожа, волосы — все это сойдет, всего этого давно нет, если считать по его, Эда, времени... Ему виделся желтый оскал черепа Ингигерд — живой, красивой, веселой, — и он хватался за голову, и усилий стоило не броситься, не при-

жать изо всех сил, защищая собой... Лишь изредка он позволял себе, чуть касаясь, провести пальцем: висок... скула... впадинка между скулой и челюстной мышцей... ямка между ключицами и ямки под и над кадыком... Просто чтобы убедиться: оно есть. Мое. Тут. Спит...

«...И бойко рифмовали слова «любовь» и «кровь»»...

Это из песенки. Названия не помню. Из старой, кажется, какой-то песни.

Наросший лед не добавил слюдяному окошку прозрачности. За прорезями-ромбиками в ставнях синел ранний вечер. Ставни были закрыты — плотно, на щеколду.

Эд поднялся и перетащил скамейку — тяжелую, на двух резных обрезках досок вместо четырех отдельных ножек — поближе к огню.

В печи стреляли искрами поленья. Березовые. Отраженный свет дрожал в изразцах — желто-голубых, будто неумело раскрашенных акварелью.

Фэнтэзи. Фэн-тэ-зи. И я вполне гожусь в главные герои — высокий и мускулистый, и широкоплечий... мужественные черты лица, и нос мне в армии сломали — так вот и не собрался сделать пластическую операцию... И без страховки влез на обледенелую крышу...

И где-то поблизости бродит прекрасная дама с длинными рыжими косами.

Эд потер заросший подбородок. Ему хватило наблюдения за процедурой здешнего бритья. В крайнем случае, бороду потом подрежу... будет ма-аленькая бородка...

Он представлял себя со стороны — стриженый почти наголо и вообще мало похожий на древнего русича

парень у огня, угрюмый взгляд исподлобья... Слава Богу, что волосы отрастут не раньше, чем через полгода.

А так далеко он не загадывал. Одна мысль, что через полгода он еще будет здесь... лучше пойти поискать крепкую веревку.

За прошедшие полторы недели он успел буквально возненавидеть этот мир. Ничто здесь не рождало даже намека на ту тяжелую ностальгию, которую вызывал у него, скажем, вид марширующих по экрану римских легионов. Ничто не нравилось, не восхищало, не умиляло, даже не интересовало. И даже мысли о том, что любой из здешних предметов ТАМ оценивается в изрядную сумму, только добавляли тоски. Тоска, досада, злость и презрительная неприязнь. И тяжелая же гордость за СВОЙ мир — клятый, загаженный, да, но не с этим же свинарником сравнивать...

...Кстати о свиньях. В здешнем хлеву ему довелось побывать — бродя по двору, случайно заглянул в открытые воротца, куда только что вошла женщина с ведром. Здешние свиньи оказались мелкими, черно-пегими и волосатыми, как дикие; коровы — мелкими же и лохматыми едва не до курчавости, но зато с длиннющими, изогнутыми, как у волов, рогами...

И сами люди. По крайней мере, он понял, что все это брехня насчет прекрасной белокурой славянской расы. Люди как люди. Бороды. Деревня. Только что нет таких пропитых морд, как в наших совхозах. И брюнетов среди них было немногим меньше, чем в России, которую он знал.

...Как когда-то в Анапе, в пионерском лагере, украинские ребятишки дивились светлым глазам ленинградцев. А он впервые осознал прелесть принадлежности к

большинству. Не так часто ему доводилось испытывать это чувство...

...Да. Так к чему это. Просто ему не казалось, что среди местных он так уж выделяется. Ну, чернявый, ну, глаза карие... Не таким уж исключением все это оказалось.

Тоска. Огненные отсветы теряются в разноцветных узорах ковров. Но не тепло, нет... Щели в стенах проконопачены мхом и снаружи замазаны глиной, но все равно изморозь выступает на бревнах. «А так тебе и надо — герою-десантнику не фиг отсиживаться в чужой спальне...»

Тоска.

...Их корявые женщины — ничуть они были не краше современных ему деревенских девиц, пахать на такой и коня на скаку остановит. Зато он живо представил, как выглядела бы здесь Галка — со своим алым причесоном, макияжем под узника Освенцима, худенькие плечики, тонкие руки... Давеча ему случилось поймать девицу, подскользнувшуюся на замерзших помоях у двери в поварню. Девица — девчонка, точнее, симпампончик-румяные-щечки — игриво стрельнула глазками. Глазки оказались сочно подрисованными — судя по всему, углем...

Он кутался в плащ. Главное, что здесь не было привычной ему устойчивой равномерности температур. У огня — жарко. У окна — холодно. На лестнице тоже холодно — сквозняк...

И запах. Кухонный, коммунальный какой-то дух — должно быть, снизу, из поварни... Эд поморщился. Прижался к печи щекой. Гладкие, как кафельная плитка, изразцы. На голубом фоне желтые башенки.

Гладил ладонью застежку плаща — он уже более-менее освоился с этой похожей на запонку, но размером почти в половину ладони штукой. За один такой плащ здесь, небось, можно выручить несколько коров. Да тот, что ему, Эду, дали вначале, небось, пожалели бы и барана. А подбитый мехом кафтан, а пояс-ремень — длинный, с узорными бляшками, с металлическими наконечниками... Обули, одели, поят, кормят... Чего тебе еще, паразиту?

Плащ тоже был подбит мехом — Бог знает, чьим; из всех на свете мехов он, Эд, четко отличал лишь каракуль, песца и кролика. А плащ по-здешнему — «мятль», это он уже усвоил. Разноцветные — красные, белые — круги, вышитые на синем. У них, похоже, мода на эти круги, их вышивают на рубашках, шапках и даже сапогах... Вытянул ноги. Да, и на сапогах. Чтобы в дождь скорей промокали?

Огненные отсветы играли на носках с позволения сказать, сапог. Эд думал о том, что вот эту пару ему подобрали в размер — причем без большого труда. А понадобилось бы — сшили бы на заказ...

Фаворит.

Кожаная подошва без каблука. Ноги мерзнут, несмотря на мех внутри. А ведь по здешним понятиям эти сапожки наверняка дороги и шикарны. А лужи в дождь переходить — вот, господин, деревянные подошвочки, крепятся к ногам посредством вот этих ремешков... что-то вроде сандалий, только надеваемых поверх обуви.

Как он тосковал по своей одежде. По зимней куртке хотя бы. Тройной синтепон, резинка внизу и резинки в рукавах, и резиновая тесемка в капюшоне, а если

застегнуть капюшон на «липучку», то все вместе превращается в усеченное подобие скафандра...

И этой курткой он бы эффектным жестом закутал чьи-нибудь плечи.

Желтые башенки на голубом фоне. Кирпичики, зубчики, окошечки. Ощущение собственной подлости было постоянным — просто иногда оно словно рассасывалось в свежих впечатлениях, а когда впечатлений не было — вот как сейчас — возвращалось и, прямо скажем, жабой укладывалось в груди. И вспоминались глаза Рогволда — в то, первое его, Эда, здесь утро. Долгие, странно пристальные взгляды, в которых уже не было никакой насмешки. Нельзя быть таким самонадеянным, но тогда ему казалось, что он прямо-таки видит, какая мысленная мозаика складывается под этой шапкой волос. И ему было стыдно, нестерпимо стыдно, ему просто было худо, он едва выдержал... К этому парню никогда в жизни никто по-человечески не относился. Нашел, куда бить, скотина бездушная...

И когда жаба внутри принималась ворочаться, трясь ледяными боками, он мысленно кричал (кричал-то мысленно, а кулаки сжимал вполне в натуре): «Я еще ничего не сделал! Я еще никого не обманул!» — «Ну так обманешь, — безразлично отзывался мудрый внутренний голос. — Ты бы так же улыбался этой женщине, на которую у тебя, высокопарно выражаясь, наточен нож за голенищем; у тебя хватило бы совести ее соблазнить, подбить на побег и удушить где-нибудь в лесочке... Просто сейчас тебе кажется вернее другой путь. А жизнь этой девушки — жизнь этого парня, ты это прекрасно понимаешь...» — «Ну

и он должен понимать! Не давай себе вешать лапшу на уши!» — «Ах, Эдик...»

Я понимаю, твердил он сам себе, прижимаясь лбом к горячим изразцам. За мной двухсполовинойтысячелетний опыт человечества, дворцовые перевороты и политические заговоры, за мной громадный мир многомиллионных мегаполисов, интриги из-за наследств, коммунальные склоки, фиктивные браки, кляузные судебные процессы... А у них... что они здесь знают? Ну, князь Всеволод зарезал брата и уморил его сожительницу — ничего более значительного здесь, небось, и не случилось. Ну, какая-нибудь вдова, по слухам, спровадила мужа на тот свет грибочками...

Он беззащитен перед тобой. Перед ТОБОЙ — беззащитен. Сволочь он, конечно, та еще, но чего-то кажется мне, что ТАКОЙ подлости он и представить не может.

И эта девушка, которая тоже, между прочим, не виновата, что оказалась переведенной стрелкой на рельсах твоей истории...

Лоб стал горячим, как у больного в жару.

Очень кстати вспомнилось, что с лица молодой княгини давно исчезли чудившиеся ему проблески сочувствия. Теперь она ледяным взглядом смотрит сквозь него, Эда, и это еще ничего, потому что при виде Рогволда она просто демонстративно подбирает подол — с таким видом, точно боится испачкаться. Рогволд кланяется и отмалчивается, но глаза у него поблескивают нехорошо.

Это же серпентарий. Пауки в банке. Пороховая бочка. И достаточно искры... И искру ты им обеспечишь, правда? Тебе так дороги рельсы твоей истории, ты го-

тов на них лечь сам и положить его, ее и еще кучу невинных людей, весь этот поселок положить, с мужчинами, женщинами и ребятишками...

Башенки.

...Что по-настоящему слабые и беззащитные взрослые люди редко вызывали в нем даже простое сочувствие. Сочувствия достоин сильный, попавший в капкан — ведь есть на свете такие давления, что никакому сильному не выдержать. Спасать стоит того утопающего, который барахтается до последнего. А кто готов лечь носом в первую попавшуюся лужу — да туда ему и дорога.

И никаких межполовых различий тут он не признавал. Женщина слабее мужчины физически, но в современном мире давно не физической силой определяется статус человека. Да и всегда, в общем, так было... Так что извините-подвиньтесь, мозги у всех одинаковые.

Ингигерд.

Причиной пожара стала опрокинувшаяся лампадка в домовой церкви. Эд проснулся, кажется, секундой раньше, чем его затрясли за плечо.

...Он запомнил темную комнату, полную огненных бликов. Свои босые ноги на дощатом полу; штаны, сапоги, плащ, ох, он знал эти истории о пожарах в деревянных городах — как выгорало все от и до, и по равнинам пепла бродили уцелевшие, обезумевшие с горя.

Бежали по лестницам — проклятые крутые лестнички, с узких ступенек срываются ноги, крики, плач, запах дыма, звяканье оружия, и та самая девчонка, кото-

рую он спас от падения на помойной куче, невнятно выкрикивая, билась в руках здоровенного мужика.

А потом они все стояли. И смотрели. В черном небе плясали языки огня, летели искры, и в дыму не стало видно звезд. Огонь был в своем праве — самоуверенный такой огонь. Чего ему бояться, думал Эд, — ведь ведра с водой передаются от колодца по цепочке, и их так мало, деревянных обледенелых ведер... и людей мало, и все так медленно...

Крыша церкви рухнула внутрь — с грохотом и треском. Пламя взвилось, брызнули искры и какие-то горящие обломки, ударило жаром, — и рядом завизжали и шарахнулись.

...Утром в белесом небе темнели седые от пепла обугленные балки. Дом и бОльшую часть пристроек все-таки удалось спасти — как, Эд не понял. Он помнил только ведра, которые передавал — передавали все, и князь в развевающемся плаще метался, крича что-то про храм Божий; а вода расплескивалась и замерзала, черный затоптанный снег, мокрые и холодные пальцы Рогволда, мокрые рукава его рубахи... Эд был уверен, что борьба безнадежна. Оглядывая освещенную заревом толпу во дворе княжеской усадьбы, уже прикидывал, как разместить все это в курных избах поселка.

Но он ошибся.

...Разбирать развалины начали в тот же день — но этим уже занимались исключительно те, кому полагалось по социальному статусу. Холопы. Несостоявшийся холоп Эд Бирцев в натопленной комнате валялся на постели, запивая клюквенным морсом жареную с шафраном курицу.

* * *

От деревянной церквушки осталась одна стена. (Большинство икон, правда, успели вынести.) Рухнувшее и прогоревшее разгребали несколько дней. Эд, разумеется, понимал, что церковь будут восстанавливать — но и в мыслях у него не мелькнуло, чем может обернуться в полупервобытном обществе такая затея, как строительство.

...Рогволд уехал утром — с дружиной, она же банда. Вспахивая сугробы, отворились ворота, выпуская всадников; вставало солнце, и искрился воздух, полный снежной пыли. Прежде чем подняться на крыльцо, Эд, которого с собой не взяли и не приглашали, долго и тупо разглядывал собственные следы на снегу — непривычные следы, будто не от сапог, а от валенок.

По поводу целей Рогволдовой поездки («И сорвался ни с того ни с сего, а?») у него были свои соображения. Вероятно, и не у него одного.

...В людской, надрываясь, вопил младенец; Эд заглянул. Ребенок лежал на лавке. Был он явно простужен — на ноздрях пузырилось изжелта-зеленое. Мамаша — немолодая и несимпатичная, изможденного вида женщина в штопаном платке, — стояла у лавки на коленях. Вот припала губами к носу ребенка — громко всосалась, оторвалась, сплюнула на пол; снова припала... Санитария и гигиена, подумал Эд, проходя. И патриархальная простота. И дети-то, прости Господи, сопливые все как один...

У лестницы наверх он столкнулся с выходящими. Прижался к стене, пропуская. Обдавая запахом ладана, мимо потянулись: попик с поднятой иконой (вполне канонического вида облупленная Троица); еще двое

церковных — один с кропилом; князь и пятеро из дружины — все в верхней одежде и вооруженные.

Эд вышел следом.

И снова он стоял на крыльце и смотрел. Процессия обошла вокруг бывшей церкви — один махал и кропил, остальные нестройно пели хором. Затем духовные лица вернулись в дом (продрогший Эд вторично попятился, уступая дорогу), а остальные проследовали на конюшню — откуда вскоре появились верхом. Ворота снова открылись и захлопнулись; уже выезжая, один из всадников оглянулся на Эда. Взгляд Эду не понравился.

Во дворе, где всегда суетился народ, не было никого, кроме него и четверых стражников, закрывавших ворота. В людской, кроме женщины с ребенком, собралось уже человек десять. И все они тоже смотрели — странно, — и под этими взглядами Эду окончательно стало неуютно.

...Он глотал морс, привалившись спиной к ковру над постелью. Что-то происходило; что — он не понимал.

Оконные ставни были открыты, и солнечные зайчики прижились на гранях ледяных узоров. Стиснув зубы, Эд отодрал примерзшую щеколду — распахнул слюдяное оконце. Отсюда, со второго этажа, все-таки кое-что было видно. Село за княжеским частоколом — крыши в снежных шапках, улочки... Шестеро всадников — черные на белом. А кроме них, насколько хватало обзора, не было НИКОГО. Село будто вымерло — стоял солнечный зимний день, искрясь, вилась поземка... и ни одной живой души не виднелось даже во дворах.

Эд ежился у окна, навалившись локтями на подоконник. Что-то происходило... совсем непонятное, потому что — в его понимании — даже известие о грядущем вражеском нашествии должно было бы вызвать совсем иной эффект. Церковь, Рогволд... с утра все было нормально...

И вдруг он вспомнил. Все эти жуткие байки о человеческих жертвоприношениях при закладке новых построек — особенно имеющих большое значение, например — культовых... С обычаем вполглаза боролась даже христианская церковь, он бытовал во всех странах Западной Европы... все эти рассказы о мостах, соборах и замках, которые упорно рушились, пока кого-нибудь не замуровывали в стену... И поиски жертвы, кажется, частенько происходили именно так — высылали отряд, который должен был хватать первого встречного.

...Светило низкое солнце. На крышах клубились тени от уходящих вверх дымов. Всадники ехали — черные на белом, среди тишины и пустоты. В пределах видимости встречных у них не намечалось. Ни первых, ни вторых; если бы я столкнулся с ними не в доме, а во дворе... Даже нет — во дворе, наверно, все равно не считается. Если бы не в доме, а на улице... и не до того, как они обошли вокруг церкви — совершая, видимо, какой-то обряд, — а после...

Христиане хреновы.

И пришла еще одна мысль — и он застыл. Потому что — а на что рассчитывал сам князь? Слух прошел по селу ударным темпом — ведь еще утром все были явно не в курсе; местные жители попрятались, а плотность населения у них тут такова, что чужой человек может не забрести в округу еще полгода. Так кто непременно

должен встретиться князю и его людям раньше любого чужака — если не брать в расчет совсем уж диких случайностей? Правильно, возвращающийся отряд Рогволда — судя по всему, не ведающего о том, что начало строительства назначено именно на сегодня. КАК такое могло получиться? Чтобы ближайший княжеский родственник — не знал?! И князь не может не понимать, что рискует жизнью племянника... ведь КТО будет ехать впереди отряда? И, значит...

Он стоял у окна, глотая колючий ветер. До него доходило. Князь не любит племянника — племянник, черт его побери, строптив...

И вот тут он испугался всерьез. Кучка удаляющихся всадников темнела уже за внешней стеной — далеко в поле. За селом хотят ловить? На дороге? А вот фигушки вам, думал Эд, сбегая по ступенькам. Фигушки.

Он знал, что тоже рискует жизнью — причем своей, — но страха не было. И на ходу думалось об отвлеченном. Что он не понимает их логики — по его, Эда, понятиям, ждать от души убитого, чтобы она, вселившись в освящаемую таким образом постройку, прониклась к своим убийцам добрыми чувствами... На вашем месте, ребята, я не рискнул бы войти в такую церковь.

...И только уже за воротами княжеского двора, на пустынной, продуваемой поземкой улице, он спохватился — сообразив, что аборигены недаром не питают пристрастия к пешим прогулкам. Что в поле снег по колено... Но ему все равно было не из чего выбирать.

Из ворот поселка его выпустили — покосившись, — но ничего не сказали. Думаете, я не знаю, сообразил Эд с каким-то даже злорадством. Думаете — вот она, жертва, и как удачно — чужак... А фигушки вам!

Мир за околицей походил на компьютерную картинку. Солнце сгинуло; серое небо равномерно, как градиентная заливка, темнело к горизонту, — а под ним до горизонта же тянулось белое и бугристое, в редких пятнах незанесенных кустов... А может, я и ошибаюсь? Ведь чепуха же... Уехали — подумаешь, мало ли, куда они могли поехать. Народу нет — ну и что... А?

...Упруго, как проволочные, подрагивали черные на фоне снега верхушки мертвых трав.

Дальше все было просто. Он топтался на опушке, готовый в любой момент шарахнуться с дороги в лес. Сначала ему было даже жарко — еще бы. Ведь если вместо отряда Рогволда на него наткнется отряд Всеволода... Далеко ли убежишь по сугробам?

Потом он замерз. Ругаясь сквозь зубы, переминался, притоптывал, прыгал с ноги на ногу, — только что не приплясывал. Серый день незаметно поголубел и обернулся вечером. Сыпал снег.

...Потом он услышал. На этот раз не ржание — конское всхрапывание, позвякивание сбруи, глухой стук копыт по заснеженной дороге... Он прыгнул в сторону — перемахнув через ближайшие к дороге сугробы, поднырнул под еловые лапы — и снег, конечно, посыпался, но все-таки наследить Эд ухитрился по минимуму.

А потом он увидел их. И, увязая в снегу и отряхиваясь, выбрался навстречу.

И, в общем, можно было уже не сомневаться насчет того, откуда они возвращаются — переброшенные через конские спины вьюки распухли от добычи, а у желтобородого стражника правая рука была обмотана окровавленной тряпкой, а у кого-то еще перевязана голова, а в хвосте отряда двое ехали на одной лошади...

А Рогволд был цел и невредим. Вороной конь остановился, уже надвинувшись на Эда грудью — широкой, костистой, лоснящейся... Предводитель бандитов смотрел с седла — расширенными удивленными глазами.

...Эд даже сумел объяснить, в чем дело. «Церковь», «строить», «жертва»... Костер дымил, дым тянулся в небо — и был уже светлый на темном. Люди сидели молча. Кусая губы, Рогволд швырял в пламя заснеженные шишки, и пламя шипело; там, под спешно нарубленными мерзлыми зимними ветвями, таились огненные расщелины, наводящие на мысли о лаве, магме и вулканах... Кто здесь знает, что такое магма? Или вулкан?

Рыжий притащил и бросил в огонь охапку еловых веток. Повалил густой дым, вокруг повскакали и заругались. Эд остался сидеть. Он сделал, что хотел — ему повезло. Но... Пешка, подумал он о себе. Как... марионетка — ничего не понимает, а дергается...

Рогволд молчал, ссутулившись.

К поселку они подъехали в темноте. Кое-что Эд сообразил — после заката никакое строительство невозможно, ночь принадлежит темным силам, от такой работы не будет добра. Да и человек, явившийся ночью из лесу, вряд ли годится на роль жертвы — кто его знает...

Всадники ехали теперь чем-то вроде знаменитой «свиньи» — колонной по трое в ряду. Эд, далеко в арьергарде ерзавший на крупе за спиной у рыжего, увидел княжеский отряд одним из последних.

Их разделяло поле — голое зимнее поле. У частокола — черного и смутного в густеющей сини — сгрудились черные фигурки; вот одна подняла руки ко рту и

что-то крикнула. Ворота дрогнули, приоткрываясь — оранжевый свет факелов лег на сугробы.

Из ворот боком выбралась женщина. Кажется, женщина — в длинном. Кажется, с подносом, и на подносе что-то стоит...

— Ого, — сказал рыжий и пятками толкнул коня.

...Когда они подскакали, Ингигерд все еще растерянно улыбалась. И блестел в огненном свете начищенный серебряный поднос, а на подносе — кубок, тот самый, княжеский, с цветной эмалью... И потрясенный Всеволод смотрел на жену округленными глазами.

...Соль ситуации рыжий растолковал Эду на пальцах. Впрочем, в этом почти и не было необходимости — Эд все понял сам. Для этого хватило даже его убогих познаний в языке — плюс чуть-чуть дедукции. На глазах собравшейся толпы князь Всеволод бил по щекам вдову брата, надоумившую молодую княгиню встретить усталого и замерзшего мужа с кубком подогретого вина — при том, что княгиня понятия не имела, куда и зачем уехал муж и что, собственно, грозит тому, кто попадется ему навстречу, — зато вдова-то все понимала очень хорошо.

Приседало на ветру пламя факелов. Снег падал крупными хлопьями, и над горелыми балками церкви проступила бледная луна; княжеская ладонь звонко прикладывалась к дряблым вдовицыным щекам. Ну скорпионник, думал Эд почти с восхищением. Ну скорпионник...

Кажется, организаторы акции струхнули и сами. Тощий попик торжественно объявил, что в жертву будет принесен конь — на утренней заре. (Эд внутренне съежился — коня, если уж на то пошло, ему было куда

жилье, чем человека. Животное-то уж вообще непонятно за что...)

Скрипя снегом, мялись продрогшие зрители. Вдовица убежала в слезах — низенькая, грузная, закрываясь платком... Всеволод, проводив ее взглядом, высморкался в руку — стряхнул на сапог некстати подступившему стражнику. (Тот затоптался, затряс ногой — обтер сапог о сапог.) Всеволод вытер ладонь о плащ и, натужно улыбаясь, сообщил, что на следующий за началом восстановительных работ день он, князь, своей волей назначает «лов» — большую охоту.

Ингигерд — кажется, так ничего и не понявшая — стояла с ним рядом. Держась за рукав, жалобно засматривала в глаза.

И был ужин — мрачный на редкость. Угрюмые домочадцы жрали, пили и переглядывались — искоса; редкий смех звучал неестественно, и даже в трапезной было словно сумрачнее обычного. Эд, снова оказавшийся с гуслями на лавке, халтурил и думал о своем. Трапезная гудела голосами; вдруг воцарившая мертвая тишина дошла до Эда не сразу.

Он поднял голову.

Они стояли друг против друга — бледный племянник Рогволд с еще капающим кубком в занесенной руке и окаменевший дядюшка Всеволод, от глаз до пояса залитый выплеснутым в лицо вином — капли висели у него на бровях, на бороде, и темнела, промокая, белая шелковая рубаха... Рогволд сказал что-то — сквозь зубы, будто плюнул, — явно какую-то гадость. Со стуком поставил кубок, развернулся и пошел прочь — к лестнице наверх, в горницы. Двое мальчишек-стольников, ша-

рахнувшись от него, едва не выронили длинное блюдо с ручками. В тишине загремела и покатилась по полу тяжеленная, надо думать, серебряная крышка.

Все смотрели вслед — в напряженную спину под складками алого плаща; все молчали. В тишине Эд положил гусли на ла́вку. Князь Всеволод полотенцем вытирал бороду.

Эд шел через зал. Теперь все смотрели на него — или ему казалось, что на него все смотрят. Тяжелый взгляд князя он чувствовал спиной; он знал, что совершает ошибку. Большую ошибку — те, кто возражает сильным мира сего, в мире сем не задерживаются. Рогволду, в конце концов, можно, он племянник, — а ты кто?!

Ему казалось, что половицы под его ногами скрипят на весь зал. Свечные огоньки расплывались, как в тумане; какие-то блики, чьи-то лица... Ясно он видел только упрямо вскинутую русую голову. Расшитый край плаща обмахнул ступени, когда Рогволд обернулся — должно быть, услышав шаги за спиной.

В горнице было холодно. И темно; голубело замерзшее слюдяное оконце. В тусклый квадрат света на полу легла сдвоенная тень. Рогволд что-то спросил — глядя снизу вверх. Эд развел руками. Ни к чему тебе знать, пацан, на что мне столь публичная демонстрация преданности. Будем надеяться, что ты и не догадаешься. Будем надеяться, что я хитрее тебя...

А Рогволд криво усмехнулся — глядя в глаза. Усмешка сделалась почти болезненной — и он опустил голову, и Эд сверху увидел взъерошенную макушку — без пробора, зато в колтунах. Перевел дыхание.

...Сдаться и ПОВЕРИТЬ. Вот так, с кривой усмешкой, но довериться-таки другому человеку, который тоже почему-то все делает не как все...

Молчи, совесть.

Внизу запели — в несколько голосов; с дребезгом разбилось что-то стеклянное. Не воображай слишком многого, одернул Эд сам себя. Ниоткуда еще не следует, что он тебе благодарен. Тоже мне, герой-спаситель, — вышел ежик из тумана, вынул ножик из кармана...

Рогволд глядел исподлобья — сквозь упавшие пряди волос. Эд вдруг подумал, что по всем законам жанра на месте этого парня должна была бы стоять Ингигерд. Тонкая, с косами до колен, и огромные глаза влажно блеснули бы в лунном свете... И я даже знаю, кто по всем законам жанра должен был бы стать моим злейшим врагом... не-ет, не муж Всеволод, тот — персонаж нейтральный, а враг должен быть отрицателен и гнусен во всех отношениях — начиная с характера и кончая сексуальной ориентацией. И в конце концов я, наверно, победил бы его в поединке...

Шевельнулась тень под ногами. Плащ несостоявшегося врага казался черным; упрямый локон скрыл один вражеский глаз. Этот жуткий мир, вся эта чудовищная родоплеменная трясина, где один человек не значит НИЧЕГО — он обязан быть никем, единицей в роду, безликой клеткой растения... Рода. И никогда я никому не объясню, что мне плевать на предков Рогволда в десятом колене, и что даже в кошмарном бреду не пришло бы мне в голову сопоставлять его поведение с поведением его дядюшки и из полученных результатов выводить какие-то общие характеристики всех остальных их возможных родственников...

И все мы знаем, что бывает с людьми, которым в подобных условиях вдруг взбредают в голову мысли о каких-то их правах — о неприкосновенности частной жизни, о свободе выбора, свободе личности и свободе совести... Ой, это не их безымянных могилок так много на нашем грешном шарике?

Внизу (стол опрокинули, что ли?) зазвенело и загрохотало так, что оба вздрогнули. Рогволд тряхнул головой, отбрасывая волосы.

Что же ты делаешь, парень, думал Эд. Здесь у вас нельзя так себя вести, это попросту смертельно опасно... И кто помешает князю Всеволоду, почтенному и всеми уважаемому человеку, главе семьи, запороть до смерти незаконнорожденного племянника — единицу, с его, князя, точки зрения, никчемную и неудачную во всех отношениях? С той же, между прочим, легкостью, с какой сам племянник приказал бы вздернуть на первой попавшейся березе заупрямившегося раба...

На полу застыли тени — четкие, как вырезанные; я не могу тебе помочь. Но ведь это мне хорошо рассуждать и сравнивать. Тебе-то сравнивать не с чем — тебе не предлагали на выбор другого мира.

Смелость. Или дурость. Или наглость. Или безрассудство. Или гордость. Черт их разберет, дикарей... Волосы. Глаза. Нос, губы, скулы... Нет, а парень он все-таки потрясающе красивый, как ни крути... Игрушка.

И это тоже причина, подумал Эд — неожиданно бесшабашно весело. Не, если так... То какая же часть организма руководила мной — выдав свое мнение за трезвое решение головы?!

Он переступил через лунный квадрат — и рывком подхватил Рогволда на руки.

4. Финал Фэнтэзи

...закрыть своим телом. От всего на свете. Хоть от падающей бомбы...

Лю-блю.

Никто. Никого. Никогда. ТАК — никого.

Умом он сомневался в своей правдивости, но сейчас это было не важно.

...Ты не понимаешь, думал он ночами, слушая чужое дыхание. Ты ничего не понимаешь. А я не знаю, что делать. Правда-правда. Пока все еще можно исправить... Пусть все еще повисит в равновесии. Оно такое хрупкое, это равновесие, держится на таких соплях... Еще хоть несколько суток. Еще несколько суток ВОТ ТАК. Чтобы обнимать тебя. Брать на руки. Смотреть... Я не знаю, что будет потом. Когда равновесие распадается, может пришибить всех вокруг.

Светлело в темноте обмерзшее окно. Ледяные узоры разлапистыми пальмовыми листьями. На руке — чужая голова, ворох волос. Запах от теплой макушки — горьковатый, напоминающий почему-то о пляже, раскаленном песке и соли, сохнущей на камнях. Тоска и нежность. Кукла моя. Шлюха. Убийца. Ребенок...

Дыхание. Вдох-выдох, вдох-выдох... Страх. Что-то случится. Если с тобой что-то случится... Если тебя кто-то обидит... Убью. Умирать буду, доползу, глотки поперерву. Всем.

Он понимал, что медлит. Стремясь удержать свою нечаянную удачу, растянуть свое... счастье? Глупо... Какое там счастье — сплошные страх и мУка, а счастье — в

промежутках, когда переводишь дух... Но ведь я не за себя боюсь, твердил он, с отвращением ощущая себя благородным. Какой благородный подлец...

Лес был сказкой. Укутанный в белое и пушистое, разноцветно искрящееся — и поникшие ветви берез стали кружевными арками, и клубами застывшего дыма стояли кусты... Это сравнение он где-то вычитал, но уж очень оно показалось точным. «Облаками» — куда хуже...

Голубые, в синеватых тенях снега. И над всем этим — бледно-золотое утреннее небо.

...Ворот, расшитый неправильной формы крупным бисером. Плечи, руки, волосы, глаза, губы.

Он исподтишка запустил руку в штаны и торопливо поправил торчащее.

— Малыш, — сказал он.

Он лежал на спине, и чужие волосы касались его лица. Чужие губы шевельнулись — тоже сказали что-то.

— Не понимаю, — отозвался он, широко улыбаясь.

И не надо. Не хочу ничего знать, ничего понимать, к черту все, к черту, к черту, бормотал он про себя, всасываясь в эти губы, вдыхая запах волос, пальцами свободной руки путаясь в завязках штанов...

Затрещали ветви, потревоженный куст осыпал снегом, и на фоне неба возникла лошадиная голова — выворачивая кровяной белок карего глаза, потянулась бархатными губами. Лениво поднялась рука в широком золотом браслете, погладила между ремешками уздечки. У лошади были желтые плотные зубы, а черные ноздри изнутри оказались розовыми. Лошадь фыркнула,

обрызгав — попало и на Эда, но это даже не было противно — и отошла, натягивая тянущийся к березовому стволу повод. Там, за кустами, чернела и топталась вторая.

...Волосы — немытые, блин, наверно, несколько лет... Браслеты, парные, на обеих руках... Как кандалы. Экстравагантная девушка Валя Ицхакова, его бывшая одноклассница, в свое время носила в качестве украшения наручники из детского полицейского набора — с перекушенной плоскогубцами цепочкой.

...Штаны.

Молчал зимний лес, приютивший отставшую от княжеской охоты сумасшедшую парочку. Некстати подумалось, что летом в этом лесу, должно быть, птицы... правда, птицы ухитряются петь и у нас, и даже в худосочных дворовых рощицах, но не то это все-таки, наверно... «Группа служащих выехала в лес на пикник. В лесу на разные голоса заливались мобильники».

...Спину холодило даже через два плаща. Он лежал, раскинув руки, чувствуя на груди тяжесть чужой головы, и щурился на солнце. Он был счастлив в этот безумный зимний день, в чужом лесу, под чужим небом... Почти счастлив. Ошалел, одурел, обалдел... Как кот от валерьянки. Сам не понимая — вот уж банальнейшая из пошлостей — не понимая толком, как и, главное, когда такое могло, такое успело с ним случиться. Жизнь. Кровь. Смерть... Вот оказался бы на месте выломившейся из кустов лошади медведь — и я пошел бы на медведя с голыми руками...

...И все-таки. Если мне удастся вернуться. КАК Я БУДУ ЖИТЬ БЕЗ ТЕБЯ?

Прошлое

— Би-и... — засмеялась Верка, нажимая пальцем мне на нос.

Потом. Когда все прошло и сделалось смешным и далеким; и странновато стало вспоминать, как общие знакомые наперебой хватали меня за рукав и заговорщицкими голосами предупреждали, что Веркин батя поклялся меня застрелить из охотничьего ружья, которое висит у них на стенке...

Дружненькие такие, за бутылкой красного вина мы обсуждали Лидкино будущее — и порешили, что я, как относительно честный человек и сознательный отец, беру на себя половину ответственности за ребенка, которого она, расплевавшаяся с родственниками и, следовательно, одинокая работающая студентка, просто физически не может пока держать у себя...

На другой день я получил ответственность на руки. В розовой шапочке крохотный нос между румяных щек. Говорят, все годовалые дети похожи на отцов, это такой трюк природы для пробуждения родственных чувств, но, блин...

Мое. Не дам. Убери руки, сволочь!.. Тяжелый все-таки случай — наши чувства...

И теперь, если Верка вздумает забрать дочку, я даже не знаю, что это будет. Еще слава Богу, что живем в одном городе и, в общем, недалеко...

Настоящее

Он смотрел Ингигерд в затылок. Поверх белого плата — темно-синяя шапочка, расшитая вынизанными из

цветных — не исключено, что драгоценных — камней кругами. Надувалась на ветру белая ткань, и бился темно-синий плащ, и юбки — в седле она сидела боком, по-европейски. И серо-пятнистый конь был, наверно, прекрасен по здешним меркам, и летела по ветру золоченая бахрома попоны, а маленькая рука в вышитой кожаной перчатке крепко держала поводья...

Они никого не убили. Даже никого не поймали; охота оказалась неудачной. И слава Богу. А ему, Эду, одной церемонии жертвоприношения на церковных развалинах хватит на всю оставшуюся жизнь...

Он хватался за луку седла. Понимал, что не прав, что хвататься надо если уж не за поводья, то хотя бы за гриву, еще в детстве об этом читал... Но поводья он упустил сразу, а развевающаяся грива вдруг показалась неимоверно далекой — чтобы достать до нее, нужно было разжать руки и какой-то момент держаться в седле на одних ногах. На твердом, гладком, подпрыгивающем, пластом на живое, фыркающее, готовое в любую секунду отколоть что-нибудь этакое... Не-ет.

Оба раза — на княжеском дворе и только что, на лесной поляне, — в седло его подсаживали, тем самым лишая себя бесплатного развлечения. Впрочем, он, кажется, и так оказался сплошным развлечением — особенно для них, непритязательных, готовых аплодировать заморенному медведю, топчущемуся на задних лапах под дребезг бубна...

За один этот день он узнал многое. Что: а) сидеть на лошади — значит сидеть не на диване, а «на шпагате»; б) стремя должно приходиться точно посередине ступни, а ступня все норовит провалиться глубже, угрожая вывихом...

Завтра у него разболятся мышцы ляжек. И мышцы икр. И плечи, и спина. Не исключено, что и еще кое-что... зад, во всяком случае, он себе уже отбил — возможно, и не только зад... Первое, самое главное открытие: верховая езда есть не отдых, а физическая работа. Настолько, блин, работа, что он как-то даже перестал понимать, в чем, собственно, вообще ее преимущество перед пешей ходьбой. Только в скорости, что ли?

Складки синего плаща лежали на лоснящемся крупе. Передние всадники остановились. Почему-то. И, закинув голову, княгиня показывала вышитым пальчиком вверх... там, в небесной бирюзе, покачивались кровавые среди инея ветвей рябиновые гроздья. Разводя руками, Ингигерд что-то весело говорила по-своему... Восхищалась. Рябина у них, что ли, не растет?

Он сумел-таки подцепить поводья. Они оказались длиннее, чем он думал — натягивая, он закидывался, почти лег спиной на конский круп. И сам понимал, что делает не то, и сзади снова засмеялись... Но лошадь послушалась — сделав несколько шагов, встала. И потянулась губами к заснеженному кусту, и он — Эд, конечно, а не куст, — напрягся. (Впрочем, куст, вероятно, напрягся тоже...) Кобыле ничего не стоит прилюдно увалиться в сугроб — что она уже и проделала, едва оказавшись за воротами поселка, и от обалдения Эд не успел ей помешать — да и вряд ли сумел бы, ведь поднять ее он не смог ни окриками, ни тычками. Кобыла его класс верховой езды оценила безошибочно, и полное презрение выражала всем своим видом. А он к тому же и боялся пинать ее со всей силы — невозможно, противоестественно было бить

сапогом в живой теплый бок. Он попытался соскочить — и не вытащил из стремени одну ногу, пытаясь другой нащупать землю; в этот момент чертово животное, разумеется, поднялось и пошло. А нога застряла в стремени, и если бы не рыжий Рогволдов телохранитель, под общий хохот поймавший кобылу за повод, скакать бы Эду за ней на одной ноге...

Ох.

Он таки сумел привстать в стременах. И, отломив ветку рябины, протянул княгине — и она взяла, чуть помедлив; ее лицо было совсем рядом — яркие синие, как шапочка, глаза, и нежный румянец — кожа у нее была светлая, непривычно светлая... и кольца медных волос, выбившиеся из-под платка... И было — близко — лицо князя, с приподнятыми — но не гневно, скорее добродушно-насмешливо — бровями, и очень спокойное лицо Рогволда, и — неожиданно близко — усатая ряха тучного командира ее личной охраны...

Он, Эд, что-то сделал. Он хотел нарушить равновесие — и, похоже, нарушил...

Хотя ТАКОГО оборота событий он не ждал, конечно. Прости меня, моя любовь.

Прошлое

...Я, вообще, к сексуальным меньшинствам нормально отношусь, — сказал бородатый неизвестно чей друг Леша, одергивая кожаную жилетку. — Но ты бы лучше спел что-нибудь про настоящих мужчин.

Так и осталось тайной, кто, собственно, привел его на Веркин день рождения; он был мало кому знаком, но компанейскую активность проявлял за пятерых. По его лицу было видно, что «настоящие мужчины» для него понятие не абстрактное — что он искренне убежден в реальном существовании такой категории граждан и, более того, в своей к ним принадлежности.

Валерка (про которого я тогда еще не знал, что он Валерка) моргнул. Положил гитару на колени. И вдруг, широко улыбнувшись, заголосил с рекламной истошностью:

Настоящие мужчины
Не боятся простатита,
И в постели у любимой
Не уронят свою честь.
Потому что им известен
Медицинский центр отличный...

Бородатый Леша сменился с лица.

Настоящее

...Усатый викинг с поклоном отстранил княгиню. Ингигерд послушно отъехала, все еще держа ветку у губ — она почему-то всегда его слушалась, может быть, он и родственником ей приходился, — обо всем этом Эд подумал потом. А тогда он увидел побагровевшее разъяренное лицо; усатый плюнул под ноги его лошади. Что-то говорил — негромко, сквозь зубы; жестикулировал кулак в песочного цвета перчатке — швы наружу, мел-

кие стежки, толстые черные нитки... А потом самого Эди сильно толкнули в плечо, под ним заржала, пятясь, лошадь... И был этот звук, прежде слышанный им только в кино да на тренировках по владению холодным оружием — звук рассекаемого клинком воздуха; запоздало поворачиваясь, усатый вскинул руки к груди — но грудь его уже была разрублена наискось, до пояса. И был еще один звук — когда Рогволд вытянул меч обратно; с лезвия упали капли, а правая половина туловища усатого отваливалась набок, и кровь хлынула — на лошадиную спину, на снег... Лошадь с визгом шарахнулась, забилась, и тело рухнуло в кусты. И был женский крик — вопль, но какой-то сдавленный, и Ингигерд уже бежала, путаясь в юбках, проваливаясь в снег... и, добежав, упала на колени — не исключено, что просто наступив-таки себе на подол; слетевшая шапочка попала кому-то под ноги...

А ведь у меня был шанс. Дурацкий шанс персонажа дурацкого фэнтэзи. Даже принцесса мне встретилась — причем именно такая, какая положена по законам жанра. Красивая, гордая, чистая (почему так блевать тянет от этого слова? Чистыми бывают тарелки и тряпки, это характеристика потребительского продукта, а не человека).

Но все равно. Это к ней я должен был влезть в окно. А потом, стоя на крыше крыльца, подхватить ее на руки. И мы скакали бы верхом через заснеженные поля, или бежали бы, спотыкаясь и проваливаясь, но все равно держась за руки, а за нами бы — погоня с обнаженными мечами... И я взял бы ее с собой, плюнув на все свои страхи за судьбу человечества, а зако-

ны жанра уж устроили бы так, чтобы страхи оказались напрасными.

Она была бы нежна, и верна, и преданна; она ждала бы меня, когда я уходил бы совершать подвиги; любовь ее — драгоценность... Ранним утром мы обвенчались бы в маленькой православной церкви — причем я бы сам не знал, за фига мне это надо — чтобы читатели окончательно прониклись тем, какой истинно русский их герой, настоящий парень из народа, не очень образованный, но интуитивно чувствующий... народную душу... связанный духовной пуповиной... Тьфу.

Но я не влюбился в принцессу.

Вечер. Ползут синие тени. Холодно. Двое стоят на крыльце.

Русые волосы — сосульками на лоб. Плащ — грубая толстая ткань, подбитая темным мехом, а по краю — вышивка, крупные неровные камешки, кривоватые ромбики и квадратики... Желтые камешки — янтарь. Голубые — бирюза... Что у нас есть, кроме надежды?

...С усилием выталкивая тяжелую дверь, Галка шагала из подъезда и, стуча каблуками, направлялась к машине — и он, встречающий, выскакивал, чтобы отворить ей дверцу. Вокруг фонарей сеялась подсвеченная морось, брызгами разбивались падающие с крыш струйки, и только в салоне невеста снимала капюшон. Горела желтая лампочка, по стеклам стекали капли, у Галки были горячие щеки, и горячие губы, и...

...По слюдяным квадратикам оконца летят тени снежинок. По дощатому полу ступают маленькие (маленькие, блин! на самом деле! бывает же...) ноги в красных византийских туфлях. Жесткий шелест платья. Фиоле-

товые птицы на голубом фоне. Длинные косы цвета медной проволоки, перевитые жемчужными нитями — крупный, неожиданно, до бижутерийности ровный жемчуг — все-таки княжеская жена.

...А любовь — это все-таки еще и готовность чем-то жертвовать. Чем ты готов пожертвовать? И для кого?

Фэнтэзи. Пошлый, тупейший в львиной доле своей жанр. Дерьмо. Прибежище бездарных авторов и жвачка для слаборазвитых мозгов. Благородные герои и их прекрасные подруги, и выбор сердцем всегда оказывается правильным, а не равнозначным выбору совсем иным местом, традиционно противопоставляемым голове... А если написать все как есть, читатели возопят к автору: «Почему у вас все герои такие подонки?!» И автор возопит в ответ: «Но они же любят друг друга!» — «Ну и что?»

Но я же, — думал он, глядя в русый затылок, — я же...

Синий зимний вечер. Все в инее, даже перила крыльца, даже нитки в бахроме забытого на перилах пестрого платка.

— Рогволд, — позвал он.

Поворот головы. Упруго мотнулась торчащая прядь. Взгляд. Вспухшие с ночи, обметанные губы. Очень красивое, в сущности, и очень жесткое лицо.

Эд медленно перевел дыхание. Сглотнул. И наконец брякнул:

— Ай лав ю.

Чтобы быть непонятым наверняка.

Он привык к взаимному незнанию языков — в этом даже обнаружилось кое-что забавное. «Рогволд, ты зна-

ешь, что такое «оргазм»? Щ-щас узнаешь...» А Рогволд бормотал в ответ. Тоже, надо думать, что-то соответствующее — временами его явно здорово забавляло, что Эд не понимает сказанного...

Лицо приподнявшегося на руках Рогволда было над ним. Показался кончик языка, облизнул губы... И взгляд был озорной и напряженный, азартный... Это тело они наструганот ломтями кровавого мяса.

Эд отвел глаза.

...Ты думал, что так будет проще? Дурак... Кто-то когда-то решил, что проще будет отслужить в армии, чем десять лет скрываться и раздобывать справки. Кто-то еще помнит, что из этого вышло?

...Чужими руками, да? Что стоит науськать его на бедную девушку — и история обойдется без тебя...

Дурак.

Рогволд плюхнулся на локоть. Освободившаяся рука забралась Эду под рубаху — и, задевая браслетом, поползла вниз. Жесткая ладонь. Они в жизни ничего путного не делали, эти руки — только крутили меч...

Ладонь двигалась. Эд закусил губу.

...Вниз — туда, где тяжелело и напрягалось, подрагивая, и вообще уже прижалось к животу.

— Эдвард...

И он зачем-то поправил — хриплым шепотом:

— Эдик. Повтори — Э-дик...

Рогволд глядел на него, озадаченно сдвинув брови. Шевельнулись губы:

— Э-дик...

Эд сгреб его за плечи и завалил на спину.

Мой мальчик.

* * *

— Господи, ну раз Ты нас такими создаешь — значит Ты, наверно, что-то имеешь в виду?

— Дурак ты, Эдик, — ответил бы Бог. — Создавал Я тебя, время тратил, а толку...

Этой ночью ему приснилась война.

Они с Лидкой ехали в машине. Каким-то полем — зеленым, летним; в небе появилась точка (как он мог видеть ее — из салона?) и превратилась в угловатый военный вертолет, и вертолетов стало уже несколько, а небо закрыли купола парашютов. И уже вместо неба был почему-то купол Балтийского вокзала — они стояли у выхода из метро, в толпе таких же испуганных и растерянных; все говорили о войне, но он никак не мог понять, с кем — с Америкой или с арабами за Чечню, а к нему уже шагнули фигуры в комбинезонах, с автоматами на груди — и по их лицам нельзя было определить национальность...

Он поднял голову с подушки — только чтобы убедиться, что это сон, он даже не успел осознать, где находится — уснул снова. Чтобы увидеть то же самое — только в несколько иной версии. Теперь там, во сне, была зима, они с Лидкой пробирались заснеженным берегом замерзшей реки — и из кустов настречу снова вынырнули фигуры в камуфляже... А Лидка, трехлетняя Лидка стояла босыми ногами на снегу и смотрела ему в глаза.

Проснувшись, он отметил, конечно, любопытную ассоциацию, но, в общем-то, думалось совсем не об этом. Воспоминания даже о камуфляжных костюмах солдат неведомой страны будили тоску.

...Ставни были распахнуты. За окном мутно синело, хотя время было — за полдень. Словно и не рассветало.

По крайней мере, вот лежу на шкурах, думал Эд, осторожно приподнимаясь и выпрастывая из-под головы затекшую руку. Едва утерпел, чтобы не зашипеть от боли. После вчерашней охоты у него болело все — даже та, гм, часть организма, насчет которой ему никогда не приходило в голову, что она может иметь отношение к верховой езде.

Итак, что я имею, начал он и тут же, не удержавшись, ухмыльнулся. «Имею». Тогда уж не «что», а «кого»... «А ну, заткнись! Ш-шутник... Дать бы тебе по этому месту, чтобы вперед головы не решало... Вот что теперь будет?»

Не знаю, отмахнулся он беспечно. Могу я расслабиться хоть раз в жизни? Хотя бы сейчас... когда мне так хорошо... и тепло... и сонно... «Сонно тебе! Еще бы! Спать ночью надо!»

Голой грудью он чувствовал дыхание Рогволда. Тепло и тяжесть. Волосы. И щетина колется. Щетина и царапнула, когда Рогволд зашевелился — не просыпаясь, придвинулся, закинув на Эда еще и ногу. Вот интересно, думал Эд, обнимая — осторожно, чтобы не разбудить. А ведь до меня он вроде уж спал-то один. Желающих не было составить компанию?

Дыхание. «Ему все равно, с кем трахаться, не обольщайся. Это тебе почему-то уже не все равно...»

Эд закрыл глаза... Как в «Тихом Доне»: «За две недели вымотался он, как лошадь, сделавшая непосильный пробег». Хороший, конечно, мальчик Рогволд, но

если так дальше пойдет... Он беззвучно засмеялся, вспомнив позавчерашнее скандальное засыпание (уснутие? засып?) мальчика Рогволда на княжеском совете. Самого-то Рогволда это только развлекло, зато князь проводил его долгим взглядом... Эд перестал улыбаться. «А что я могу сделать? Один раз я его выручил... сколько можно? Я даже не могу объяснить ему, что это опасно...»

Объяснять он пытался. Правда, совсем не затем, чтобы обезопасить Рогволда от дядюшкиного гнева. Ножом на бересте выцарапал две недвусмысленно мужские обнявшиеся фигурки, одну посредством тыканья пальцем отождествил с собой, вторую — с Рогволдом, потом несколько раз повторил «Ингигерд», «Дания», подрисовал попика с крестом, а затем — обе фигурки на костре. Чувствовал он себя при этом свиньей, каких мало.

«Но у меня же нет выбора. Да и не врал я, в конце концов...» Временами, когда стыд делался невыносимым, только эта мысль его и утешала. Пусть скажет «спасибо», что я его предупредил...

У него осталось впечатление, что Рогволд понял. Хотя до вчерашнего дня на его поведении это никак не отражалось. И только на вчерашней охоте выяснилось, что понял он все гораздо лучше, чем Эд предполагал — просто вместо того, чтобы испугаться, пришел в бешенство.

У них еще нет этого опыта, думал Эд. Они еще не знают, что закон — любой закон, навязанный властью, имеющей силу заставить свои законы выполнять — есть адская машина, перед которой ничто самая своеволь-

ная личность. Закона можно бояться, можно его обходить, но нельзя плевать ему в морду, он этого не любит...

Влипли, думал Эд с тоской. (И сон уже как рукой сняло.) Ох, влипли...

А Рогволд спал. Заурядный, в сущности, ублюдок с садистко-проститутскими замашками. Что ты в нем нашел? Его даже свои-то терпеть не могут...

Спит. Дышит. Он же недочеловек для них, думал Эд с внезапной сосущей жалостью. Он — один, вот что. В этом мире, где одному быть никак нельзя. Семьи, считай, нет. Язычник, церковь откажется. Поп на него волком смотрит — еще бы. Да не дай Бог что... И это «что» ты ему устроил. Ты, сволочь! Он-то этого не понимает — но ты, блин... И — на паническое «Что я наделал?!» — «Да он и сам наворотил за четверых — когда быть бы тише воды ниже травы...»

В дверь стукнули. И сейчас же дверь скрипнула, и в образовавшейся щели возникло бородатое лицо над качающимся на цепочке крестом. Попик повел глазами и застыл — впрочем, у Эда не создалось впечатления, что он удивился. Моргнул, поймав Эдов взгляд, и тот подумал, что служитель культа сейчас осенит себя крестным знамением — однако ошибся.

Полуголый Рогволд, едва приподняв голову с Эдовой груди (Эд поспешно разнял руки), сонно спросил, шмыгнув носом. Попик ответил двумя фразами — длинной и короткой, причем Эд разобрал слова «князь» и «суд». Ну все, подумал он.

Скотина, думал он, разглядывая жиденькую, с проседью попикову бороду. Радуешься... Твоя небось работа. Да и второй тут не зря околачивался. Варяга,

небось, он науськал. А девчонку — вы оба. Борцы, блин, за нравственность... И Всеволод недаром меня больше петь не зовет... впрочем, если он всерьез собирался принести Рогволда в жертву при постройке храма Божьего, ему, конечно, уже донесли, кто вставил палку в колесо.

Попик взирал вполне благостно.

...Не люблю этого слова в таком контексте. Настоящий мужчина, настоящая женщина... настоящий человек... А все остальные что — поддельные?

«Настоящий мужчина» — помесь трактора с гориллой. «Настоящая женщина», соответственно, — гибрид вибратора с кухонным комбайном.

Хочется дать в морду. Потому что обидно, в конце концов. И за тех, и за других.

В сенях присоединились четверо стражников, спавших за дверью — личная Рогволдова охрана. Рогволд, осунувшийся, с кругами вокруг глаз — от хронического недосыпания последнего времени, какой-то очень собранный, придерживая меч, шел первым.

Молчали. Скрипели доски под сапогами, брякали мечи о лестничные ступеньки. Эд отрешенно подумал, что это все-таки хамство — явиться на княжеский суд с оружием, да еще привести с собой вооруженную свиту. Хамство, зато разумно...

Дом будто вымер — лишь раз, обернувшись, Эд успел увидеть в боковых дверях сразу исчезнувшее служаночье лицо. Плохо дело, подумал он. Если уж даже прислуга попряталась...

Впрочем, он не понимал, почему дело должно быть так уж плохо. Глядя Рогволду в спину, вспомнил, что в «Русской правде» почти не упоминается смертная казнь. Только штрафы. «Если кто убьет княжьего тиуна (приказчика)...» Даже за убийство. А уж убийство высокородным паршивого иноземца... Потом он вспомнил, что за иноземцев штраф был как раз больше. Да и какой из Рогволда высокородный — бастард... Потом Рогволд ногой распахнул забухшую дверь, и они вступили на крыльцо. В серо-голубой, укутанный свежим снегом мир.

И в огненные отсветы.

Горел костер — в расползающемся пятне проталины. Двор был полон народу. Перед крыльцом расстелен ковер, на ковре — два вынесенных кресла. Оглядываясь из-за резной спинки, князь следил, как шестеро спускаются по ступеням. Начало вышло диковатым — преступники появились из-за судейских спин. Явно не рассчитан был судебный церемониал на то, что обвиняемыми окажутся обитатели княжеского жилища.

Эд оглядел толпу. Он был уверен, что будут кричать, плевать и, возможно, чем-нибудь кинут. У него заранее сводило челюсти и сами собой поджимались лопатки. Но толпа молчала.

Лица. В большинстве — угрюмые, недоверчиво-настороженные — надо полагать, княжеских родственничков судили не часто; в большинстве — мужские. Бороды, круглые, опушенные мехом шапки, тулупы какие-то, подпоясанные веревками, дОхи... У здешнего простонародья вид был как раз ничуть не экзотический. Вон мужик стоит — под распахнутой дохой рубаха до колен, вышитая по подолу красными петушками, шта-

ны синие в белую полоску, портянки, лапти... Так крестьяне одевались, кажется, еще в начале двадцатого века. Только что баре к тому времени сменили вышитые плащи на сюртуки и цилиндры...

Под ногами желтели доски — по случаю исторического события лед со ступеней скололи. Давая дорогу, расступились теснившиеся возле княгини варяги. Смотрели исподлобья. Мельком Эд увидел неподвижный, со сжатыми губами профиль Ингигерд. И шагнул с крыльца на оранжевый в огненном свете снег.

Встать пришлось у костра. Что с одной стороны было хорошо — теплее, но с другой... Сразу пришли на ум испытания раскаленным железом, которое полагалось брать голыми руками.

Эд смотрел на княжескую руку, стиснувшую резной подлокотник. Всеволод был без перчаток, красные волосатые пальцы шевелились, взблескивая перстнями. Красные сапоги притоптывали, роняя на ковер ошметки снега. Ноги Ингигерд, закутанные меховой (похоже, медвежьей) полстью, были неподвижны. Руки она прятала под плащом. Заплаканное, пятнами лицо под измятым ветром мехом шапочки — другой уже, розовой. (А ту, должно быть, так и затоптали...) Испуганная девчонка без всяких следов княжеского величия, то и дело, забываясь, начинающая кусать губы, переводящая затравленный взгляд с толпы на мужа, с Эда на Рогволда, с Рогволда на попика — а попик не упустил момент и первым выперся с речью, и, стоя перед князем, то трагически шептал, то, тыча в снег сучковатым посохом, срывался на крик...

По крайней мере, слово «Содом» Эд в его речи разобрал несколько раз.

Крупные снежинки садились на волосы Рогволда. Эд вдруг снова вспомнил босые следы на заиндевелом полу — внезапное желание схватить за плечи и отшвырнуть, загородить собой оказалось таким сильным, что он стиснул зубы. Плевать мне, что он куда лучше приспособлен к здешним дракам, а я и мечом взмахнуть не сумею. Плевать.

Костер трещал и дымил, снежинки падали в него каплями. Из-под стаявшего снега показалась жухлая прошлогодняя трава. Налетевший ветер понес дым в их сторону — Эд закашлялся, отворачиваясь. Даже сам князь щурился, закрываясь рукавом, морщился и утирал слезы. Ингигерд уткнулась в покрывало. Но оратора и дым не брал — кашляя, он продолжал говорить, суча палкой. Снег вокруг него был изрыт.

Очередную тираду попик произнес, потрясая палкой над головой. Из толпы что-то выкрикнули — как показалось Эду, что-то одобрительное. Чего и следовало ожидать — Рогволд явно не пользовался народной любовью. Эд вспомнил разбитое лицо умалишенного нищего и вздохнул. Кривиться опасался — не отнесла бы власть на свой счет.

На княжеских плечах разлеглась волчья шкура — болтались мертвые лапы, и мертвая голова глядела стеклянными глазами. Ох, как он, Эд, понимал сейчас несчастного волка, как ему сочувствовал; как он ненавидел сейчас...

...О, как он умел ненавидеть! Как отчаянно он умел ненавидеть — куда лучше, чем любить.

Может, потому и любовь получилась такая вот — от неумения?

...примесь ненависти, и обреченности, и тоски... Ты — гиря на моей шее, потому что без тебя я был свободен. Тебе дешево обошлась моя свобода — несколько улыбок, след перепачканных сажей пальцев на щеке... Ах, эти побелевшие пальцы на тусклом металле кубка — дурацкого кубка, похожего на вазочку для мороженого; кухонный чад пиршественного зала... Никто. Никого. Никогда.

...Попика-аборигена сменил другой — католик, духовник Ингигерд. Бывший, кажется, духовник, — кажется, она перешла в православие... Этот говорил полатыни, и в паузах встревал худенький переводчик; иногда же сбивался на, видимо, датский — тогда столпившиеся позади княгининого кресла сослуживцы убитого принимались кричать и бить в щиты. Последним вылез русский в остроконечной шапке и в желтом плаще, расшитом золотыми цветами, картавый и вдобавок простуженный — чихал, всхлипывая и утираясь рукавом. Главный княжеский тиун. Говорил он долго, притоптывая узорными сапожками, но Эд не понял ни слова.

Белели, подолгу не рассеиваясь, облачка выдыхаемого пара. Темнело. В сумрачном небе таял дым. Пробегали слуги с охапками березовых дров — прогоревший было костер снова затрещал, взвились языки пламени, бросив отсветы на лица. Поднялся сам князь и сказал что-то Рогволду. Тот ответил — улыбаясь. Он очевидно огрызался — может быть, даже хамил; он засмеялся в ответ на какое-то замечание вскочившего попика — незнакомым, раздельным, кашляющим смехом.

Он явно издевался — он слишком привык к безнаказанности. У него не было опыта страха.

И Ингигерд отняла от лица покрывало. В расширенных глазах чудились оранжевые отсветы. Вид у нее был такой испуганный, что Эд удивился. Но он почему-то верил, что никакие личные мотивы тут ни при чем. Что она искренна, эта девчонка, хорошая жена своему мужу, — она убеждена в своей правоте, но еще и добра, благородна и великодушна, — она боится, что правосудие в азарте пришибет грешников, а ведь им нужно только объяснить, и они раскаются и встанут на путь истинный...

Призрачная тень летящего снега струилась под ногами. А потом сбоку почудилось какое-то движение. Скрип шагов. И как-то очень светло стало — раздвинулись тени людей, только что окружавших их двоих. Охрана Рогволда расступалась, пятилась — один за другим разбойнички исчезали в толпе. Эд поймал неподвижный взгляд рыжего — лицо у того на секунду ожило. Бровями, глазами он сделал недвусмысленное движение — в сторону. Эд отвернулся.

Они с Рогволдом остались посреди вытоптанного круга — вдвоем. И ему, Эду, тоже советовали убраться, пока не поздно. Это ведь не тебя судят, ты — только свидетель...

Один пристальный взгляд власти — и мы лояльны, думал Эд, озираясь. Он не был удивлен. И оглянувшийся Рогволд, кажется, не удивился тоже — только передернул плечами, как от холода, и шагнул в сторону. Точно ему вдруг стало неуютно стоять к Эду спиной.

Эд понял.

Такое ощущение принято описывать как «душат чувства». Жалость, нежность, и еще что-то, и еще... Он ведь знал, он и не сомневался, что мы все разбежимся, и только это инстинктивное стремление уберечь спину от потенциального врага... Эд шарил по бокам в поисках несуществующих карманов. Спохватившись, опустил руки — медленно, пряча сжатые кулаки. Рукоять меча царапнула запястье.

Он вдруг ясно представил Рогволда на дыбе. Голым. Вывихнутые, посиневшие, со вздувшимися мышцами руки, ремни, врезавшиеся в распухшие, стертые в кровь запястья, и сквозь сосульки волос смотрящий глаз — едва, щелкой, раскрывшийся в сине-багровом отеке; и струйку крови на подбородке — из прокушенной губы, и спину — полосы синяков, а посередине каждой, в рваных краях, где плеть рассекла кожу — полосы запекшейся крови... Ты ведь знал, что так будет. Знал?! И лужа крови, впитывающаяся в доски пола, и как в ней отразится нога перешагивающего палача. Здешнего палача он видел — здоровенный (ну не попрешь против стереотипа — видать, работа такая), не в меру упитанный детина. Круглое, румяное и вполне доброжелательное к миру лицо.

...И ссадины на, как пишут в протоколах, «внутренних поверхностях бедер». И струйки крови. И как палач неторопливо развяжет пояс — расшитый, с веселыми шерстяными помпончиками на концах, — и пухлой ладонью погладит Рогволда по заду... Какого черта, так и будет. Все знают, что встает у него на мужиков, и все его ненавидят. Уж они постараются, чтоб у него из ушей полилось...

Он спохватился. Теперь пятилась, раздаваясь, сама толпа, и еще шире стало пустое пространство, в котором они остались вдвоем. И, расталкивая, заходя с двух сторон, в круг вступили княжеские стражники.

Эд сглотнул. Даже не оглядываясь, он знал, что сзади, у открытых ворот, привязаны лошади — чьи-то, кого-то из зрителей, — а толпа там как раз пореже, все подтянулись к огню... Я не смогу, думал он, глядя на стражников. Меня убьют. Сразу. Я не смогу, думал он, схватив Рогволда за рукав — разворачивая. И не узнал своего голоса в нечленораздельном крике, с которым прыгнул и в прыжке ногой ударил в чье-то лицо.

Он сразу понял, что ошибся — махать ногами не стоит, как раз промеж мечом и ткнут. Но человек повалился навзничь, и Эд ударил еще кого-то — кулаком в лицо, и еще кого-то... Он бил и бил — в бородатые оскаленные рты, пинал в животы под холщовыми рубахами; а потом увидел палки — у одного, у другого, третий взмахнул мечом, но он, Эд, сумел увернуться... «На копья поднимут», — подумал он и, только чтобы создать хоть какую-то дистанцию между собой и ими, выдернул меч.

Он не умел им пользоваться. И все они наверняка знали, что он не умеет — о нем наверняка уже легенды ходили среди княжеской охраны... И когда кто-то загоготал и надвинулся — без палки, без оружия, с голыми руками, — Эд прыгнул и крутанулся, как видел в кино, и в повороте полоснул мечом поперек чужого живота. Лезвие зацепило одежду, но рассекло ее неожиданно легко, длинный разрез брызнул кровью — и в этот момент Эда сзади ударили в голову. Он увидел тьму, полную ярких искр.

* * *

Единица — ноль с точки зрения природы. Самый умный, самый смелый, самый сильный, выживший из целого племени — все равно что если бы его уже и не было вовсе. Нужно, чтобы выжили хотя бы двое. Мужчина и женщина. Самец и самка. Чтобы было, кому продолжить род. Нужно заставить спасать друг друга, любой ценой... Чтобы потерять другого стало стократ страшнее, чем умереть самому; чтобы бежали, задыхаясь — не потому, что пряник сладок, а потому, что невыносимо жить под таким кнутом...

Бедные наши головы глючат сильнее пиратских программ в самопальных компьютерах — но эти, забитые в подкорку, инстинкты действуют даже оказываясь — с точки зрения первоначального предназначения — совершенно бессмысленными.

...Он очнулся быстро — должно быть, всего через несколько минут. Узрев перед носом огненные отсветы на обледеневших, серебристых от старости сучковатых досках, не сразу понял, что его успели отбросить под забор, в сугроб.

Снег перед глазами — нагромождение невесомых угловатых кристалликов. Эд заворочался. Перевернулся на спину, гудящим затылком в холод — стало хорошо, захотелось так и лежать долго-долго, глядеть на смутные разводы облаков в темном небе... «Вставай, сволочь! Вставай, они убьют его, вста-ать!»

Перекатившись на бок, приподнялся на локте. В ушах звенело — тонко, по-комариному. У ворот дрались.

А потом в гомон, крики и, надо понимать, брань мужских голосов воткнулся одинокий женский — вы-

сокий, задыхающийся, и он увидел бегущую через двор Ингигерд — и, добежав, она врезалась в толпу, расталкивая дерущихся, пробиваясь вглубь...

Он снова увидел ее в просвете между оторопело расступившимися спинами — она стояла лицом к толпе, раскинув руки, заслоняя собой шатающегося Рогволда; а у того в руке был меч, причем в левой руке — а правую он прижимал к боку, рукав на ней висел кровавыми лоскутами, и кровь капала на снег. И затоптанные сугробы были испятнаны кровью, а в одном большом, глубоко проевшем снег пятне друг на друге лежали двое, и тот, что лежал ничком, был рыжим.

Ингигерд просила — он понял это, не понимая ни слова. Но не понимала и толпа — княгиня говорила по-датски. Твердила одно и то же — уже почти жалобно, взмахивая руками, запинаясь, вставляя, как ему показалось, русские слова; а толпа молчала в растерянности — будь на месте Ингигерд любая другая женщина, наверняка не стали бы и слушать, и не заметили бы, стоптав, — но княгиня... А стражники ошалело топтались, и даже отсюда было видно, как на другом конце двора растерянно моргает вскочивший князь.

А Рогволд озирался, высматривая кого-то, и Эд даже понял — кого.

Он шел сквозь толпу. Люди молча сторонились — и тошно было понимать, кем он выглядит в их глазах. И тошно было сознавать, что они вдвоем прикрываются девчонкой... а ей-то это зачем, совсем, что ли, сумасшедшая? И совсем непонятно, что теперь делать дальше...

Он шагнул прямо на какую-то женщину, и она шарахнулась в сторону — в расстегнутом вороте шубки

мотнулись бусы. И Эд остолбенел. Те самые, проклятые пестренькие бусы, с которых все началось...

Горничная княгини. Камеристка, служанка, наперсница — он не знал ее должности, но визуально-то ее помнил еще со времен тюремного окошка... А он-то еще все думал — ведь для властительной особы побрякушка и вправду слишком дешевенькая...

Карие затравленные глаза. И бусы — он ни с чем их не спутает, даже если это принятая техника работы со стеклом, даже если каждый второй ремесленник валяет такое ящиками... Он запомнил, кажется, каждый завиток рисунка. Красненькое, зелененькое, желтенькое... Они.

Он подцепил бусы пальцем и легонько дернул к себе. Датчанка смотрела на него, в ужасе приоткрыв рот — он решил, что сейчас она завизжит в голос, но она молчала. Он подставил ей раскрытую ладонь — краем глаза видя сведенное напряжением лицо Рогволда, его сморщенный нос... а князь со стражниками уже бежали, и толпа заранее расступалась, давая им дорогу... Она поняла неожиданно сразу. Стянула бусы через голову. И положила в его руку. Он торопливо повертел их, соображая — надел на себя, под рубаху. Тем самым, вероятно, добавив в общественном мнении еще один штрих к и без того омерзительному образу. Плевать.

Он встал рядом с ними. Обеими руками вцепившись в здоровую руку Рогволда, Ингигерд что-то говорила. Убеждала. Уговаривала. Заклинала. В какой-то момент Эду снова показалось, что он понимает. Правосудие. И милосердие. Отдайтесь на волю. Потому что грешника нельзя же просто отпустить, его нужно перевоспитать...

А потом он вдруг в самом деле понял.

— Нельзя так, — по-русски повторяла Ингигерд. — Нельзя так. Нельзя так.

А Рогволд молча выдирал рукав из ее пальцев — а князь со стражниками были уже совсем близко, и Рогволд рванулся, замахнувшись мечом, — не удержавшись, Ингигерд упала на колени. Эд схватил ее за плечи, потащил — но ее пальцы вцепились намертво, и, уже осатанев, он разжимал их силой. Рогволд дернул рукой, треснула рубаха; а Эд был все-таки куда сильнее княгини — нежные пальцы, хрупкие косточки, он был уверен, что сейчас что-нибудь ей сломает... Княгиня зубами впилась ему в запястье — обалдевший, он инстинктивно вырвал руку и оттолкнул оскаленное лицо. Отступая, Рогволд волоком тащил ее за собой.

Творилось безумие.

И когда стражники, отшвырнув с дороги последнего зазевавшегося бородача, выскочили на финишную прямую, меч ударил.

Прошлое

Девчонка упала носом ему в плечо. И слава Богу, что на эскалаторе оказалось так тесно — потому что иначе она, должно быть, рухнула бы прямо на ступеньки.

Испуганные лица.

— Вам плохо?

У нее был совершенно замученный вид.

— Нет... Просто спать хочется. У меня сессия, — жалобно улыбаясь, сообщила она уже ему персонально. — Я ночь не спала...

У нее были алые волосы. В жизни он еще не видел человека, которому шла бы такая прическа — даже Верка с ее тонким личиком, примеряя в каком-то экзотическом магазинчике цветные парики, походила на трансвестита и больше ни на что. А этой — да, шло. И вся-то длина ее волосам была — сантиметр, при всем желании они не могли лезть ей в глаза или еще как-то мешать — тем не менее из них рогульками торчали заколки.

— Одну ночь? — осведомился он двадцатью минутами спустя, когда они уже дружненько шагали мимо Апрашки и он нес ее сумку.

— Три, — созналась она, пока они обходили кровавое пятно на асфальте. И оступилась, и он подхватил ее под локоть; подняв нос, она гордо заявила: — Вы оперативны, молодой человек.

Он предложил ей кофе. Она согласилась — но, стоя рядом с ним в очереди у стойки забегаловки — первой встречной, — закрыла глаза и вдруг снова резко пошатнулась.

— Все, — сказал он, за локоть сводя ее к проезжей части. — Галя, кофе подождет. Будем ловить тачку.

Настоящее

...Эд, за секунды угадавший происходящее, все-таки не поверил себе — и не верил до тех пор, пока Ингигерд не закричала, отшатываясь, — крик ее захлебнулся странным булькающим звуком, окровавленное лезвие показалось из спины и втянулось обратно — и, запрокидываясь, княгиня осела в сугроб.

Только ужасом можно объяснить то, что он сумел вскочить в седло. (Рогволд, впопыхах перерубивший повод серого в яблоках жеребца, был в этот миг уже за воротами.) Эд ударил лошадь пятками, заорав что-то нечленораздельное. Если бы когда-нибудь ему сказали, что, второй раз в жизни оказавшись в седле, он сможет выдержать настоящую скачку — не поверил бы. И зря, потому что кони уже мчались по улице — кривой и узкой, в его мире такие тропинки, — и снег летел из-под копыт.

Сзади кричали. Там, во дворе, удаляющийся конский топот сотрясал землю; там уже, ругаясь, бежали к конюшне, там визжали женщины... Там она осталась лежать навзничь, в сугробе, — а кисть ее руки отдельно лежала у нее в ногах, и под хлещущей кровью таял снег.

Крики. Он оглянулся — на улицу выскакивали, теснясь в воротах. «На куски разорвут...»

От жгучего воздуха заныли зубы. Он видел впереди мечущийся плащ Рогволда; смутно белели сугробы по обочинам — а середина улицы, затоптанная и занавоженная, даже и не белела.

Ветер. Крошки снега в лицо. И вдруг, совсем рядом — короткий свист, что-то пролетело словно бы у самой щеки... Косо, на излете уйдя в сугроб, торчала стрела.

С дороги шарахнулось сразу несколько темных фигур — в разные стороны. Эд думал о том, что будет, если где-нибудь подальше улицу додумаются перегородить. С дубинами.

Меткая снеженка залепила точно в глаз.

Он был уверен, что в княжеской конюшне сейчас седлают коней, и ждал топота копыт погони. Какое у нас преимущество? Минут десять... Он понятия не имел о соотношении времени и скоростей применительно к скачкам. Десять минут в данной ситуации — это много или мало? Лошадь — не машина...

...А ведь могли убить. Вот, минуту назад; и сейчас я уже не видел бы тусклых, не освещающих окошек, заснеженных плетней... Деревянная палка с металлическим наконечником, с воткнутыми в другой конец стрижеными перьями, у нее и скорость-то символическая по сравнению с чем-нибудь этаким...

И про историю забыл, подумал он — и, не удержавшись, засмеялся.

И еще раньше, во дворе... Ткнули бы мечом, рогатиной... Все из башки вылетело. И тогда история спохватилась и сделала все сама. Не так просто оказалось сбить ее с избранного пути. И теперь Ингигерд ляжет в могилу, Рогволд в бегах... Все как положено.

Истерично трясся, скорчившись в седле.

И бусы... Он замер. Стиснул зубы и перестал дышать, прислушиваясь к прохладе лежащих на груди стеклянных шариков. Может, это знак судьбы?..

Господи, а все остальные, опомнился он. Ее охрана, и эта самая... камеристка... Все они должны были погибнуть — а они все живы; все они родят детей, которых не должно было быть...

Мелькнули окошки околицы, и они влетели в лес.

Светлели заснеженные ветви — много ветвей, путаница; светлели скелеты березового подлеска... Лошадь вздрагивала, трепеща ноздрями. Эд подскакивал в сед-

ле, изо всех сил сжимая ее бока онемевшими коленями, и шепотом ругался. Организм, еще не отошедший после вчерашнего, возмущался столь хамским к себе отношением.

Бился в метели плащ Рогволда. Эд закусил губу.

...Он же убийца. Ему же человека убить — как тебе таракана. «Эдичка, — остерег внутренний голос. — Знаешь, какой у тебя самый главный ограничитель? Уголовное наказание. А ну-ка представь, что ты вырос в мире, где тюрьма за такие вещи не предусмотрена. И где общественное мнение их не порицает, а одобряет. То есть все твои прекрасные наклонности благополучно развились в благоприятных условиях... Ну-ка? Во».

И она. Я не понял, что бить сапогами морды здесь принято, а чтобы заслонить собой своего врага, нужна смелость. Особенно если тебе не впаривали с детства про добро и всепрощение и ты не окончательно на этом повихнулся. Время, когда до самых заезженных у нас идей доходили своим умом — и лишь единицы...

Но я-то из другого мира. Где милосердие не в чести, ибо навязло на зубах. Я все понимаю, но смотрю со своей колокольни. В моих глазах то, что она сделала — не доблесть. Доблесть — стереть врага в порошок.

«Скажи еще, что то, что он сделал — в твоих глазах не преступление». — «М-м...»

А у него не было выбора. Потому что, защищая, она одновременно его топила, потому что ее влияние на мужа вовсе не было достаточным, чтобы вынудить его помиловать приговоренных...

Никогда не мог осуждать людей, совершающих целесообразные поступки. Другое дело, что целесообразность целесообразности все-таки рознь...

Рогволд оглянулся. Эд оглянулся тоже. Вдалеке мерз в темном небе белый дым. Погони не было видно, но уже чудился в топоте собственных коней слитный стук множества копыт, и чудились огненные отсветы в темных улицах... А ведь с них станет устроить облаву, понял Эд. С факелами, с собаками...

Он не поверил сам себе. Облаву — да, но завтра утром. Почему-то он был уверен, что ночью в этот лес не сунется никто.

Луны не было. И только тут он осознал, что это значит. Это значит, что минут через двадцать, максимум через полчаса наступит кромешная тьма. Та самая, какую он видел лишь несколько раз в жизни; первый раз — в детстве, когда спрятался в шкафу и поразился, обнаружив, что не может разглядеть поднесенной к глазам ладони. Да, наступит тьма, и тогда...

Покачивались задетые ветви. Из-под копыт летели ошметки снега. Дорога перестала укатанно поблескивать. Не так часто по ней ездили, по этой дороге...

Спина Рогволда впереди. На снегу, в следах Рогволдова коня — черные брызги. А ведь кровь, понял Эд. Откуда? У них нет шпор...

Откуда, он сообразил, когда Рогволд вдруг покачнулся в седле. Кровотечение... Кровопотеря...

А ведь, наверно, кровь из серьезной раны не уймется сама, понял он с ужасом. Нужны давящие повязки, швы... А если артерия задета?.. Нет, артерия — был бы уже каюк. А если вена?

А что поделаешь, ответил он сам себе. Остановиться и перевязать нет времени. Пусть держится. Если упадет — втащу, конечно, к себе на лошадь... И тут же понял: не смогу. Я и сам-то на ней еле держусь, и тем более мне не удержать другого человека... Втащишь! — приказал свирепо и, вздохнув, сам отозвался: ну втащу. Скорость сразу упадет. Боливару не снести двоих. А эти догонят и нас на куски порубят, и разбираться не будут, у кого артерии, а у кого вены...

Свернули. По правую сторону дороги поднялся обрыв. Торчали из-под снега вывернутые корни, и громадный пень нависал над дорогой.

Обрыв был тот самый. У Эда, кажется, затряслись руки. На голой груди под рубашкой бились бусы.

...Куда мы едем-то? Впрочем, не суть. Без него ты тут все равно пропадешь, так что потащишь, деваться тебе некуда...

Склон вдруг опал. Открылось нечто вроде русла ручья — должно быть, промыла весенняя вода. Здесь можно было подняться. И взвести коней — хотя что коням делать в лесу?

— Стой! — крикнул он.

Рогволд обернулся. Эд натягивал поводья, заваливаясь в седле — ему так и не объяснили, как тормозить иначе. Неумело толкаясь икрами, он даже сумел заставить лошадь (жеребца или кобылу — еще даже не разглядел) отойти к обочине.

Подъехавший Рогволд уже явно качался. Плащ, штанина, бок лошади были темными и мокрыми. Со слипшейся сосульками шерсти темное капало на снег.

— Дай руку, — сказал Эд, стаскивая перчатки — поочередно, каждый раз перехватывая поводья другой

рукой. Проплыла отрешенная мысль: а я начинаю осваиваться в седле... У нас несколько минут, думал он, затыкая перчатки за пояс. Дрожь куда-то ушла. Ему даже не хотелось торопиться — словно время вдруг растянулось. — Руку! Длань! Руцу!

Не дожидаясь, он схватил Рогволда за плечо — и сам испугался. Лицо у того исказилось, он со всхлипом, сквозь зубы потянул воздух — и боком повалился на Эда, цепляясь здоровой рукой. Е-мое, думал Эд, разрывая сочащиеся кровью лохмотья рукава. Е-мое...

Он не видел ран. Никогда. Его учили делать перевязки, но в их части самой крупной травмой — на его памяти — была сломанная нога одного салаги, рванувшего в самоволку через забор.

...Лезвие вошло повыше локтя. Наискось. До кости. Отслоив кусок мяса. Рогволд висел на Эде, тяжело дыша, — и отпихивался, честно стараясь выпрямиться. Сейчас еще лошади пойдут, подумал Эд со злостью. Левой рукой он задрал на себе кафтан и верхнюю шерстяную рубаху; нащупал нижнюю, полотняную. Подергал. Затем догадался — той же левой рукой вытащил нож. Подцепив подол кончиком, потянул в сторону — ткань треснула. Он сунул нож обратно в ножны, ухватился рукой и рванул. С треском оторвался весь низ рубахи — но пришлось снова лезть за ножом, чтобы разрезать получившееся кольцо ткани. Он не оглядывался — но, кажется, спиной слышал каждый хруст ветвей. Однако на дороге пока было тихо.

Ругаясь про себя, он бинтовал руку Рогволда оторванной полосой. В темноте едва различал оскаленное лицо у себя на плече. Сжатые зубы влажно поблескивали.

— Н-напасть на мою голову, — пробормотал он вслух и сразу осекся. Потому что так он говаривал Лидке, когда она уж очень допекала; потому что...

«Так надо, — сказал он себе. — Кто знает, когда я смогу сюда вернуться. И найду ли дорогу. Тем более, что я-то не убивал бедную девушку и в мыслях такого не имел...» — «Имел». — «Ну имел, да. Но не убивал. И я не могу взять его с собой, это тоже нарушит ход истории...» — «Он тебе просто не нужен». — «Да, в таком варианте — не нужен! Я не врач в сумасшедшем доме. Ни ему, ни мне от этого не будет лучше...»

— Рогволд, — позвал он, затянув узел.

Тот уже сидел прямо, вцепившись здоровой рукой в конскую гриву. Эд осторожно расправил складки плаща поверх раненой руки.

— Рогволд, — повторил он.

Снег падал на гривы коней. Кони стояли морда к морде — кажется, обнюхивались. Белый пар дыхания.

Пальцем он ткнул Рогволда в грудь и показал на дорогу. Потом ткнул в грудь себе и показал вверх по склону. Рогволд молча смотрел на него. Шуршала снежная крупа, копилась в складках плащей. Запорошенные пряди лежали на запорошенной ткани. Под завитками волос поблескивали глаза. Губы — горячие и колючие, обметанные до лохматости; запах снега и крови... Больше я тебя никогда не увижу.

— Прощай, Рогволд, — выговорил он, выпрямляясь.

На этот раз он заставил себя перед прыжком освободить из стремян обе ноги. Соскочив, сразу ушел по колено. Увязая, обошел лошадь и сунул Рогволду ее поводья. Тебе понадобится второй конь.

Больше ему нечего было отдать.

— Езжай, — сказал он.

Рогволд попытался нагнуться с седла — покачнувшись, едва успел схватиться за гриву. Сдвинув брови, смотрел то на Эда, то в лес. Спросил что-то. На лице — недоумение.

Эд повторил свои указующие жесты. На Рогволда и вдоль дороги, на себя и в лес. Рогволд не двигался. Смотрел, разумеется, как на сумасшедшего, но из-под этого выражения постепенно проступало другое. Еще бы — ночь, чаща, мороз... то же самое место...

Мерзли голые руки. Эд снова поймал себя на том, что шарит по бокам, ища карманы. Окровавленные пальцы слипались. Облизать, подумал он. Подемонстративнее и с аппетитом. Испугается?

Вытер ладони о заснеженный плащ. Закусив губу, торопливо вытянул из-за пояса перчатки — кое-как, едва не выронив, натянул.

Рогволд все молчал. Усмехнувшись, тронул коня. И, уже обернувшись на скаку, сказал что-то — Эд не расслышал. А и расслышав, не понял бы...

Он еще постоял, глядя вслед, слушая затихающий стук копыт. Все-таки у них с этим проще. Мы — люди здравомыслящие, стали бы хватать и не пущать, а уж чем там самоубийца руководствовался — потом психиатры разберутся. А тут... Вот что он теперь, интересно, — будет думать, что две недели жил с нечистой силой?

Погони все не было. Только теперь Эд сообразил, что преследователи, конечно, заметят уходящие вверх по склону следы. Но выбора не было.

И осталась тишина. Снежная крупа сыпала с напором хорошего дождя. Лес был... Лес. Сплошная стена еловых лап — обвисших, будто шляпки энтомолы ядовитой на картинке в «Справочнике грибника», с незапамятных времен валявшемся у родителей; частокол стволов — дальше, ближе, вблизи, сплошная снежная каша... Это не лес, думал Эд, озираясь. Это полоса препятствий. Линия Маннергейма. Было непонятно, как туда вообще можно проникнуть. Разве что на четвереньках...

Он двинулся вверх. Он хотел бежать, но мог только брести, увязая. Со склона сугробы, должно быть, сносило ветром — здесь они были всего-то выше колена. А кое-где и меньше — там выпирали наружу замерзшие корни. Вот хватаясь за корни, мелкие елочки и прутья кустов, он и вскарабкался-таки наверх — и сразу провалился по пояс.

В лесу было темно. Кольями торчали обломки поваленных стволов. Впереди поднятым шлагбаумом белела косая полоса — заснеженный ствол сломанного, но не упавшего дерева. Чуть подальше — множество таких же, но поперечных полос. Бурелом, сквозь который уже торчали ломкие скелеты кустов и упорные микроелочки. Осыпаемый снегом, он продирался, перелезал, спотыкался обо что-то невидимое под сугробами — корни, или камни, или пни... Забившийся в сапоги снег холодил ноги. Оглядываясь — кругом черные ветви, черные вершины на фоне мутного неба, — он пытался вспомнить, как его тащили сюда — но помнились только мечущиеся стволы и чужие руки, крепко держащие под мышки. Он всегда хорошо запоми-

нал дорогу. Не мог ни описать, ни представить — но, оказываясь на месте, находил. Интуитивно. Угадывал. Но, видимо, и для такого угадывания нужен какой-то минимум ориентиров. Которых не было. Лес — не город.

Впереди, совсем рядом, длинно проскрипело. Как виселица под удавленником. Эд шарахнулся в сторону и провалился по грудь.

Пятна тени и тусклых снежных отсветов. Некое движение чудилось там, и словно бы качнулся, раздвигаясь, частокол прутьев... Эд забился, подавившись инстинктивным желанием заорать во всю глотку. Сейчас, кажется, он обрадовался бы встрече с княжеской облавой. Сейчас...

Ему впервые пришло в голову, что в таком лесу наверняка должны водиться волки.

...Потом он все-таки перевел дыхание.

Тусклые снежные блики. Черные раскоряки-деревья. И нигде ни единого просвета... Озираясь, он барахтался — вертелся — в сугробе. Сердце болезненно толкалось где-то вверху легких.

Должно быть, глаза привыкли к темноте. И он разглядел, что справа и чуть дальше стволы словно рисуются четче. Словно бы на фоне чего-то более светлого... Поляна?..

Он рванулся. Ветви цеплялись за одежду и норовили хлестнуть по лицу, стволы преграждали дорогу, но опушка — теперь было ясно видно, что это опушка — была все ближе, и он лез, проваливаясь, выбираясь и снова проваливаясь, ничего больше не слыша, кроме собственного хриплого дыхания и треска ломаемых вет-

вей... Он потерял одну перчатку; вспотел, несмотря на холод; в эти минуты он успел подумать о том, что, возможно, впереди вовсе не та поляна — а заодно о блуждающих огоньках, вставших из могил мертвецах и еще о многом другом. Один раз, споткнувшись, он растянулся, уйдя в снег с головой — выскочил, отплевываясь, как из-под воды, и схватился за подвернувшуюся березку...

Стволы расступились, и он выбрался (выгреб?) на поляну. Он боялся поверить себе, но, видимо, кто-то с небес взглянул на него снисходительно — это была та самая поляна. И даже елку он узнал сразу — вот она, родимая, словно в темном платье, словно растущая из самих сугробов, часть их — потому, что засыпаны нижние ветви...

Дошел. Там, на дороге, он и не задумался над тем, насколько это будет сложно — а теперь был счастлив, и едва верил в свое счастье... Дошел.

Потом он как-то сразу опомнился. Никакой гарантии, что машина времени сработает обратно; а если не сработает, я остаюсь здесь на ночь и вряд ли доживу до утра — тогда уж лучше было уехать с Рогволдом... А лучше ли?

Я не хочу жить в этом мире, сказал он про себя. Господи, пожалей меня...

Ель возвышалась над ним. Вершина темнела на фоне туч. Вспомнился читанный в детстве рассказ Бианки — о мальчике, всю ночь спасавшемся от волков на дереве.

Через рубаху он прижал бусы ладонью. Вот, кажется, та ветка, за которую я хватался. Вот она, та яма, которую я тогда вырыл в снегу — ее еще не совсем замело...

Он постоял над ямой. Перекрестился. И снова накрыл бусы рукой.

И, окончательно уверясь, что ничего не выйдет и, значит, смерть все-таки пришла за ним, — шагнул.

...Наверно, это все-таки было падение. Потому что он снова лежал. Солнечный свет резанул глаза, и он зажмурился, не успев ничего разглядеть. Он только чувствовал — зазябшую щеку кололи стебли, и сухая земля была под щекой — теплая, прогретая солнцем; высокая трава была вокруг, насколько он мог дотянуться; он силился раскрыть глаза — и тут же снова жмурился, размазывая слезы...

Он не сразу ощутил, что солнце греет. И нос — онемевший, сочащийся — не сразу воспринял запахи летнего луга. Подминая траву, Эд перевернулся на спину и сквозь рубаху ощупал грудь. Шею. Плечи. Сел и запустил руку в ворот. Бус не было. Тогда он заставил себя открыть глаза. Вытерпел секунды боли, не видя ничего, кроме света за пеленой слез, — и, утираясь рукавом, поднялся. И вздыбившийся было страх, что могло ведь выкинуть и в какое-нибудь другое средневековье, булькнув, утонул.

Вокруг был луг. Тот луг, который он помнил. И вдалеке серела лента дороги, и краснела крыша автобусной остановки... Его родной мир. Его родной отравленный воздух, и его родное загаженное небо, и нашпигованная тяжелыми металлами трава...

Он оглянулся. Проклятое заколдованное место внешне ничем не отличалось от окружающей среды — только трава была примята там, где он лежал. А место надо было засечь. Еще может пригодиться.

Он только тут вспомнил — впервые за две недели — что так и не попытался свистнуть княжеский кубок. Сам себе подивился. Какой я, оказывается, бескорыстный — забыл намертво...

Он сосчитал шаги до ближайшего дерева. Восемь с половиной шагов. А у ближайшего дерева, подпрыгнув, заломил ветку — большую, из развилки ствола ветвь. Дерево было жалко, но больше он ничего не придумал. И, спотыкаясь, побрел прочь. Там, за деревьями, должны быть палатки их лагеря...

В роще он все-таки остановился. Сел. Стянул мокрые от талой воды сапоги. Отстегнул и разостлал плащ, и на него сложил все остальное — уцелевшую перчатку, шапку, сапоги, пояс с мечом и кинжалом и кафтан с заляпанными кровью рукавами. Размотал и бросил портянки. Получился сверток. С одной стороны ткань топорщилась углом, натянутая ножнами меча.

Шумела листва. Эд заозирался, высматривая хоть одну елку, но елок здесь не росло. Пришли иные времена.

Теперь бы попасть в лагерь незаметно, думал он, пробираясь со свертком под мышкой. Трава больно колола босые, замерзшие и мокрые ноги. Эд выглядывал, прячась за кустами. Надо думать, что и в этом упрощенном прикиде — штанах и рубахе — вид у меня достаточно дикий...

Свободной рукой закатал рукава — скрыв вышивку на запястьях и пятна Рогволдовой крови заодно. В крайнем случае скажу, что нарвался на толкиенистов и немножко заигрался, решил он — прекрасно понимая, каким бредом прозвучит такое объяснение.

Он увидел палатки раньше, чем проникся новым страхом — что попал хоть и в близкое время, но все-таки не в то. На двадцать лет раньше. Или на десять. Или на двадцать лет позже. Вернусь домой — а домашние все померли...

Но лагерь не мог оставаться на месте больше трех летних месяцев — и то маловероятно. Оставалось только бояться, что своими похождениями он все-таки накуролесил в истории. Сейчас зайду в палатку — а Витьки нет и никогда не было. А вместо Дяди Степы окажется тетка в очках. Или не в очках, а в чем-нибудь невообразимом, чего в моем мире не изобрели. А потом выяснится, что столица нашего государства — не Москва, а Ростов-на-Дону...

И в то же время сохранившая здравомыслие половина мозга думала: сейчас день. Судя по солнцу, ближе к вечеру. Все должны быть на раскопе. Сейчас я...

И он прошмыгнул-таки незамеченным. Хромая на обе наколотые ноги, заскочил в палатку — и, тяжело дыша, опустился на корточки.

Прошлое

...Та, первая ночь в прошлом (первая ночь! хм...) потом вспоминалась кусками. Рогволд крупным планом — под задницей подушка, одна нога на столике между чаш... Еще более крупный план.

Рогволд на коленях, ссутулившийся, с рукой между ног... И как я отвел его руку и стал все делать сам — и он уже лежал, кусая губы, перекатывая с подушки на

подушку взъерошенную голову, и потные ладони неумело гладили меня по плечам... Воняло, между прочим, весьма — Бог знает, когда этот мальчик мылся в последний раз. Не исключено, что в купели при святом крещении — если его крестили, конечно.

И как потом он оказался сверху, и пряди его волос касались моего лица, и болтался на витом шнурке бронзовый кружок с корявым чеканным зверем — чем-то вроде толстой змеи...

Кто бы мог предположить, для чего пригодится Галкин крем для рук, утром впопыхах сунутый мне в карман джинсов.

Настоящее

...Это была их палатка. Витькин магнитофон в углу, и Витькины носки на магнитофоне, и торчащая из-под его, Эда, раскладушки деревянная исцарапанная коробка на ремне — Витькин сложенный этюдник... И его, Эда, постель была смята, как вечером накануне всего, когда он уезжал в город за Галкой. И в пустой крышке от термоса лежало недоеденное им яблоко — порыжевшее на скусах, но еще вполне годное в пищу... Ничего не было. Ни леса, заснеженного, как у нас уже не бывает, — страшной зимней сказки, ни скачки по ночной дороге, ни усатого князя, ни крови на снегу... Его, Эда, меч не втыкался в живот другого человека, и никогда он не держал меча...

И когда он стащил штаны и рубаху, и вместе с завернутым в плащ засунул их в пустой рюкзак — меч

не помещался, пришлось его отдельно обмотать старыми газетами и под раскладушку запихать тоже отдельно, а рюкзак — следом, и все вместе задвинуть в самую глубь, за этюдник и пустые кастрюли; когда он натянул треники, футболку и — по инерции — шерстяные носки и, наконец, обессиленно вытянулся на постели — только тогда он подумал: и Рогволда не было тоже. Никогда.

Прошлое

...Бедный парень, с ним никто никогда такого не делал — Эд понял это сразу, когда это жесткое мужественное лицо вдруг сделалось почти детским, растерянно-доверчивым, обалделым... Его никто никогда не ласкал — с ним отбывали повинность.

И вот эта мысль сорвала в Эде какую-то пружину. Внезапная нежность сбила дыхание. И он одурел от запаха этой кожи, от этого тела... Он выдал все, что мог. Все, что умел и что знал из рассказов и видел в порниках; иногда Рогволд неумело пытался отвечать, а иногда и не пытался — честно ловил кайф, подставляя требуемые детали организма. Сначала — стискивая зубы, потом таки не выдержал и начал стонать — громче, громче, потом — временами — почти скулил и бился так, что Эд всерьез пугался за целость ложа. И только на какой-то энной минуте он закрыл глаза. На животе, на раскрытых губах сохло белое; нежная кожа изнанки бедер — раздвинутых, предоставивших в Эдово распоряжение все, что между... При виде этого

«между» у Эда отшибало мозги. Порномодель, блин; а мы, наверно, хорошо вместе смотримся — красивая пара... И он лез руками — дорожкой жестких волосков пальцы пробегали по чужому животу и натыкались на горячее, твердое и влажно-липкое; вот за это твердое можно было взяться, а можно передвинуть руку пониже, там тоже много интересного; а можно просто еще дальше — пальцами, одним, двумя, да хоть всеми пятью — и тогда Рогволд со всхлипами дышал сквозь зубы, хватаясь за Эдовы плечи... Вряд ли в этот момент он помнил о спрятанном — Эд нащупал — под подушкой ноже.

...Кожа. Мускулы, блин. Прямой нос и пухлые губы. Щетина. Колючая. Эд не просто восхищался — он сам себе не верил, что вот это вот... Да охренеть же! Обалдеть. Да они здесь все идиоты... Прямые плечи. Треугольник спины и узкие бедра. Всю жизнь мечтал. Полжизни. А красивый парень — такая же редкость, как красивая девчонка, и редко у нас совпадало. А ТАКОЙ КРАСИВЫЙ парень... У Валерки ноги были хуже. И... У Валерки все было хуже. Пальцы. У этого и руки, блин... Аристократ. Хотя у них и аристократы, небось, землю пашут... Запах. А вы знаете, что в паху человек потеет точно так же, как под мышками? Только запах другой...

Он не мог оторваться. Он даже наглядеться не мог. Лоб. Уши. Подбородок. Волосы... Да у него вообще нет физических недостатков!.. Сделали по спецзаказу. Специально для меня.

И было бешеное желание перед кем-нибудь похвастаться. Какая классная у меня игрушка!

«Ну а что, — думал Эд, тяжело дыша, обессиленно зарываясь лицом в спутанные Рогволдовы патлы. — Я же тоже... И в модели мог бы, в конце концов... и вообще... Не приходило мне это сроду в голову, но чисто по данным — мог бы... Он бы и у нас от меня не ушел...» — «У нас — ушел бы. ОН — ушел бы. У нас тебе такое не по карману».

Он перевернулся на спину, посадил Рогволда себе на грудь и начал все сначала. И были стоны и судороги, и колебались отсветы на запрокинутом безумном лице. А потом это лицо оказалось совсем близко — и хищно, открывая зубы, приподнялась верхняя губа... (Даже зубы, блин. Хоть на рекламу зубной пасты. И нечищенные, небось, отродясь.)

...И когда, зверея сам, сжав челюсти, он раз за разом под мышки вздергивал под собой придавленное тело — вздергивал и отпускал, в ритме собственных движений, и, отпуская, видел под собой спину Рогволда, цепочку позвонков между вздувшимися мускулами — всплыла непонятно к кому обращенная злорадная мысль: а вот попробуйте меня сейчас оттащить. Только если убьете. Причем скорее всего — обоих.

Вздрагивая, тянулся острый огонек свечи. Последние секунды, когда сведены мышцы, когда вся жизнь, как на кончике иглы, в этой штуке... которая, распираемая, будто готова лопнуть — перезрелым бананом... почти боль, последние секунды, вот сейчас, вот... и у него то же самое, он мой, этот парень, я его завел, я в нем... еще, вот, все, напоследок, до упора, все, не могу больше... И еле сдерживаешься, чтобы не впиться зубами в скользкое от пота чужое плечо. Вот, вот... О-о-о...

...На спине. На животе. На четвереньках. Валетом — «шестьдесят девять». «Шестидевяткой» они и отключились — и, проснувшись утром (днем, скорее, если быть точным), Эд сперва отодвинул от лица Рогволдово колено, а затем вспомнил, где он, Эд, и что с ним. Тогда же выяснилось, что накануне они ухитрились уделать даже ковер над кроватью — кто потом этот ковер отчищал и что сказал, Эд не узнал и предпочел над этим не задумываться.

Настоящее

...Он лежал долго. Полудремал, трясясь в ознобе и кутаясь в одеяло. Потом согрелся. Вроде. Хотя все равно самочувствие было — словно подскочила температура. Может, и подскочила... Но мерять температуру он не стал, а нашел в аптечке и принял таблетку аспирина, запив водой из канистры. Долго сидел за складным столиком, тупо разглядывая полосы на выцвевшей ткани — в прошлом синие и желтые. Никто не шел.

Прошлое

...Что лицо Ингигерд всплыло тогда — а он отмахнулся? И явившаяся мысль запомнилась почти дословно: девушка прелестна, я бы согласился и на девушку, но рядом с таким парнем... А позже — холодно: так вот что будет, если заставить меня в здравом уме и твердой

памяти выбирать между мужчиной и женщиной... Впрочем, он всегда это знал.

...И те несколько раз, когда они по-настоящему менялись местами. ТАК Эд не любил, никому с собой такого не позволял — но все тормоза в голове слетели в первую же ночь. В прорези ставен желтая луна смотрела на творящееся в комнате непотребство.

Настоящее

...Тогда он стянул носки, обул (за неимением сгинувших в пучине времен кроссовок) старые сандалии, превращенные в тапочки путем усекновения ремешков и пряжек, и потащился на раскоп.

Они все были там. И все там было как прежде. Они даже не удивились, увидев его. Витька помахал рукой, Диночка подмигнула, остальные и вовсе подняли головы, посмотрели и снова занялись своим делом. И только Дядя Степа, человек старого закала, убежденный в своей ответственности за моральный облик подчиненных, отложил лопату, выбрался наверх и, обтерев лысину грязной ладонью, угрюмо осведомился:

— Ты зачем девушку обидел?

— Случайно, — сказал Эд.

Дядя Степа молча его разглядывал; затем решительно взял за плечо.

— А ну пошли отойдем...

Отошли. Сели рядом на дальнем краю раскопа. Кривясь, Эд ерзал, устраиваясь поудобнее. Струйками потек вниз песок.

— Тебя что, били? — спросил Дядя Степа.

Эд мотнул головой — и молча взялся за затылок. Дядя Степа опасливо отодвинулся. Ладно, пусть, в конце концов, думают, что я с похмелья...

Дядя Степа снова почесал голову. Грязные пальцы оставили полосы на потной лысине. Как тогда у Рогволда на щеке...

— Эдик, что случилось?

— Ничего.

— Плохо выглядишь, — заявил Дядя Степа.

Эд пожал плечами. Глядел вниз, на осыпающийся склон. Здесь я ходил. Здесь меня подсаживали на коня. А вон там были ворота, у которых она упала. А у Дяди Степы в палатке стоит ящик, в котором она лежит. То, что от нее осталось...

Он шевельнул ногой, и крупный темный песок заструился с новой силой. Над рыхлыми кучами раскачивалась обшарпанная коричневая бывшая сандалия. А в моих кроссовках, небось, еще будет щеголять какой-нибудь монгольский хан...

«Монголам вы подсобили. И Ивана Грозного спасли...» — «А чего я-то? Я ничего не делал!» — «Ты, ты. Брось». — «А еще неизвестно, как бы иначе вышло!»

Ладно.

— Ты когда успел так обрасти?

Эд пожал плечами. У него не было сил что-то сочинять. Правда все равно никому не придет в голову.

— Когда Галя уехала? — помолчав, спросил он.

Дядя Степа развел руками.

— Вчера после обеда. Ахмет отвез на «газике». Или она тут ночевать должна была?

Вчера. Вчера. «Или ночевать должна была?» Вчера... Две последних недели его жизни уложились здесь в сутки с небольшим.

— Просила от ее имени дать тебе по морде.

Эд послушно усмехнулся. Добрый человек Дядя Степа...

Почему-то вспомнился погибший рыжий стражник — вся-то его дружеская симпатия ко мне объяснялась тем, что я переключил на себя внимание Рогволда и тем избавил его, рыжего, от сомнительных прелестей однополой любви...

— Ты сегодня будешь работать или поедешь прощения просить?

— Поеду, наверно, — отозвался Эд. — «Газик» дадите?

— Не дам, — поднимаясь, спокойно ответил Дядя Степа. — Ты не девушка. Доберешься.

Он не поехал в город. По мобильнику позвонил родителям в Питер — подошла мать. Они, разумеется, ничего не знали и не хватились его — слушая материн голос, он тихо этому радовался, когда она вдруг всхлипнула: «А у нас Вера в гостях». «Ну и что?» — осведомился он, почуяв неладное. «Она хочет Лиду забрать недели на две. Она путевку покупает в Болгарию». И были переспрашивания и повторения; потом трубку взяла сама Верка — он успокоился, убедившись, что она действительно забирает дочь только на время отпуска, но мать продолжала вздыхать. Она не хотела отдавать внучку даже на две недели и вообще не больно доверяла Веркиным познаниям в уходе за деть-

ми — но тут уж ничего не поделаешь... Он молчал — не дождавшись ответа, мать заговорила снова и говорила так долго, что у него вспотело и зачесалось прижатое телефоном ухо. И пришлось напомнить о стоимости сотовых переговоров...

Отложив мобилку, он сел на Витькины сигареты. Спохватившись, подскочил — и, охнув, взялся за поясницу. Синяков он только в первом приближении насчитал семь, но ломило все тело.

Вечером на костре булькал котелок с чаем, и все сидели кучкой — усталые и ублаготворенные, и смотрели портативный телевизор Дяди Степы. Голубовато светился экран — а если смотреть сбоку, в нем отражались огненные языки; оглушительный стрекот кузнечиков висел над разогретой травой... Передавали новости. Обсуждалось все то же убийство депутата, что и позавчера — новости были те же, и те же программы; знакомыми казались лица дикторов и мелькавшие кадры — Кремль, Останкинская телебашня, статуя Свободы... И жизнь (выживаемость? выжисть? Как это слово поставить в однозначно прошедшее время?) нескольких десятков варягов, кажется, никак не повлияла на глобальную историю человечества...

И, кажется, только в эти минуты Эд окончательно осознал: вернулся! Я вернулся!

А когда телевизор выключили, Витька, как обычно, принялся рассказывать про поездки автостопом — и, как всегда, все путалось в его историях: сибирские энцефалитные клещи, крымские каракурты («сидит тарелка волосатая»), знаменитые разбитыми мостами подмосковные речки Эхбля и Вобля — причем, по слухам,

именно под этими, присвоенными дальнобойщиками названиями и занесенные на карту — только что на карте названия пишутся слитно, а не раздельно... Слушатели хохотали.

И прекрасен был летний вечер, и невообразимо вкусен отдающий железом чай, и тогда, отобрав у Ахмета гитару, он от избытка чувств оттарабанил им свой гимн последнего времени — песенку про Портленд. И прихлопывала в ладоши Диночка, а потом Дядя Степа поднял ее за руку, и они принялись отплясывать — причем руководитель экспедиции все норовил ухватить подчиненную за задницу; Паша негодующе завопил и вскочил, потрясая кулаками...

Шевелились губы. От струн заболели пальцы.

...Что ж, если в Портленд нет возврата,
Поделим золото, как братья.
Поскольку денежки чужие
Не достаются без труда.
Когда воротимся мы в Портленд,
Нас примет родина в объятья...

Княжеский пир. Раскрашенные гусли и дым под потолком. Никогда я не вернусь туда!

— Нас примет родина в объятья! — крикнул он и тоже вскочил, сунув гитару оторопевшему Ахмету.

И жизнь была прекрасна.

Потом, когда все выдохлись и замолчали, на дне души впервые заскреблась тоска. Сунув в костер сухую ветку, он едва не обжег пальцы.

...Что я смотреть на него спокойно не мог? Что когда я впервые увидел его нагишом — фигуру, скульптур-

ную четкость мускулов — мне вступило от одной мысли, что вот это тело... да поставить раком... А когда поставил... н-да. И все эти ночи — ночи стиснутых зубов, возни и стонов; широкая дубовая скамья, выполнявшая роль кровати, ударялась о стену — к концу второй недели мне стало казаться, что она (скамья все-таки, а не стена) приобретает некую нездоровую шаткость. Разнесли...

Н-да.

ВОТ ВСЕ И КОНЧИЛОСЬ. И завтра уж точно надо ехать объясняться с Галкой — если она еще не свалила назад в Питер. И надо еще придумать, что ей сказать...

Искрами прогорали секунды.

...Почему я никогда не смотрел, как она спит? А отворачивался и тоже засыпал. И не начинал тосковать, отойдя едва за угол коридора, и не испытывал мгновенного облегчения, оказавшись рядом... Не дотрагиваясь, даже не глядя, просто — рядом. Физическая зависимость.

Глупо заводить привязанности там, откуда хочешь побыстрее сбежать и никогда не возвращаться. Глупо.

Шипение. Пузырящаяся в пламени смола. И дым ест глаза. Как тогда, во дворе... На суде.

Будет еще хуже. Будет ГОРАЗДО хуже. Будут другие дни и другие ночи...

...Когда можно часами жаться щекой к оргстеклу, под которым лежит фотография — а у меня и фотографии нет. У меня ничего не осталось... Когда внутри — сосущая пустота, и хочется куда-то бежать, с кем-то драться, кого-то убить — или просто биться головой.

Обхватив колени, он глядел в темнеющий лес. Прости меня, малыш. У меня не было выбора... Как ты там — без меня?

Мысль посетила его в двенадцатом часу, когда все уже разошлись по палаткам. Он поскребся к Паше и Диночке, и Диночка, в одной футболке, прикрываясь пологом, сунула ему Пашину книгу, которую он уже однажды брал — сборник переложенных на современный язык местных летописей. Ту самую книгу, которую он пересказывал Галке.

Теперь могу хоть сам монографию писать, весело подумал он, шлепнув ладонью по затертой черной обложке. Я теперь вроде как очевидец... Н-да. Знавал я одного такого — бушлат с дуршлагом он путал, но саги о зэках строчил со скоростью хорошего станка.

Нарочито шлепая сандалиями, он шагал мимо палаток. Все-таки в общих чертах настроение было отличное. Родина приняла в объятья... тирьям-пам-пам. Можно было, конечно, привезти из прошлого что-нибудь путное — например, утерянный рецепт перегородчатой эмали... Учитывая мои познания в металлургии, это более чем забавно.

Чтобы не мешать Витьке, он уселся на траве возле палатки — натершись репеллентом. Светя фонариком на страницы, искал, водя пальцем по строчкам. Ага, вот, в сноске, и предполагаемая дата — 1227 год, хоть будешь знать... Даже эти тексты не изменились: «...Кто рассказывает, что, послушав Светозариных наветов, Рогволд с сообщниками напали на Ингигерд, когда направлялась она ко Всеволоду, и убили ее.

Другие же говорят, что стала она княгиней, и тогда уже зарезал ее окаянный. Достоверно же известно, что после бежал окаянный треклятый Рогволд, но был схвачен, и, как дикий зверь, привезен в оковах. И собрал Всеволод бояр и народ судить прескверного...» Эд выпрямился. Этого я не помню, думал он. Этого я не помню... Впрочем, скорее всего, действительно просто не помню. Это всегда здесь было, просто когда я читал эту штуку впервые, плевать мне было на них на всех.

Но если его поймали...

«...и присудили живым сжечь на костре. И сгорел он».

Эд сидел неподвижно, перечитывая аккуратные строчки. Захлопнул книгу. Схватил снова — и едва не разорвал, ища нужную страницу. Плохо пропечатанные буквы на желтой бумаге... «Светозару же пощадил Всеволод в память брата своего, Ярополка, мужа ее...» Оторванный угол страницы подклеен скотчем. «Варяги же из дружины Ингигерд захотели вернуться домой. Но, придя ко Всеволоду, потребовали заплатить им словно бы за год службы. Когда же он отказался, стали грабить дома в его селе. Устрашась, Всеволод отдал им, сколько хотели, и звал их к себе на пир, чтобы праздновать примирение. На пиру же приказал их всех перебить...» Так вот куда они делись, подумал Эд тупо. Вот тебе и влияние на историю...

Потом он стал читать дальше, но дальше речь шла уже о правлении Юрия. Тогда он отложил книгу и лег лицом в песок. «Да только в Портленд воротиться не дай нам, Боже, никогда».

Почему-то совсем не лицо Рогволда представилось ему в этот момент. Крупным планом — а потом похаб-

ное изображение дрогнуло, словно удаляясь в кадре — живот, бедра, плечи, колени; мелькнул смеющийся глаз между прядями волос... На зубах захрустел песок, и Эд сплюнул и поднялся.

Лагерь спал. Только из палатки Дяди Степы еще пробивался свет, да у Паши с Диночкой колебалась, вспучиваясь, стенка — там были заняты. Оранжевая полоса заката светила из-за черного леса. Уже совсем стемнело, и раскопа не было видно. Где-то там, думал Эд, упираясь подбородком в песок. Где-то там... Он вскочил и побежал к Дяде Степе.

Дядя Степа, лежа на раскладушке, заполнял экспедиционный журнал — и на Эдов вопрос вытаращил глаза. Да, конечно, мы находили следы кострищ... что случилось, Эдик? (Он показал раскрытую книгу. Дядя Степа читал, поднеся к фонарю.) Ах, ТАКИХ кострищ... Эдик, во-первых, такие кострища принято было разметать. А кости и пепел казненных на Западе, например, выбрасывали в реки, развеивали по ветру... Эдик, даже если бы мы что-то нашли, историческая ценность такой находки... сам понимаешь.

— Я понимаю, — кивал Эд, сидя на полу и косясь в угол, на обернутый полиэтиленом ящик с костями Ингигерд.

Да, конечно, я все понимаю; да и зачем они мне — останки? Что я стал бы делать с обугленными костями семисотлетней давности? Сложил бы в коробку из-под телевизора и похоронил бы на христианском кладбище?

— На костре, — сказал он сипло. Он изо всех сил старался сдерживаться, но голос сел совсем, и пришлось откашляться. Дядя Степа смотрел с возрастающим не-

доумением. — В России же тогда так не казнили. Это на Западе... Нет?

Начальник экспедиции равнодушно пожал плечами. Казнили, Эдик. Волхвов жгли, ворожей... А нетрадиционная сексуальная ориентация в те времена — это, знаешь, дело такое. К тому же княгинечка-то была иностранкой, мести требовали ее родичи, ее воины... Могли и казнить по обычаям ее народа.

Эд вспомнил обоих попиков и замолчал, глядя в пол. Сердце билось в горле — Эд так и не понял, слышит его или чувствует. Потом оно затихло, вернулось на свое место; глядя в угол, на пеструю пирамиду коробок с находками, Эд позвал:

— Степан Васильевич.

— М-м? — осекшись на полуслове, спросил Дядя Степа.

Эд высмотрел в пирамиде коробок одну — пластмассовую, с висячим замочком шкатулку для бижутерии. Золотую диадему Ингигерд отправили в город сразу же, и где-нибудь она уже лежит в сейфе, но ведь была же куча более мелких и дешевых вещей. Пряжки и бляшки от пояска, кольца, серьги...

— Степан Васильевич, помните, в гробнице колечко золотое было? С красным камешком?

Он отвернулся, чтобы Дядя Степа не видел его лица. Колечко... Бусы перенесли его на луг, где в них погиб человек; где гарантия, что кольцо, снятое с пальца покойницы, не перенесет в замурованную гробницу? К тому же ни одной из найденных вещей не было на княгине в момент гибели — а что, если предметы, не пережившие ничьей смерти, в качестве «катализаторов переноса» не работают?

Уже сам понимал, что его заносит в чушь — вот уже и до самопальных псевдонаучных терминов дело дошло; но... Да ерунда это все, на самом деле. Мало ли на свете предметов, бывших свидетелями чьей-то смерти — ходят по коллекциям пряжки и пуговицы из могил несчастных солдат, которых уж точно не переодевали перед похоронами, и никого никуда не переносят. Тут не в предмете дело, а в месте... «Иначе и все шмотки, что на тебе сегодня были, сработали бы не хуже...» — «А может, и сработали...» — «А почему бусы исчезли? И почему появлялись? И где они теперь?»

Он вспомнил маленькую напряженную руку, на которой его пальцы оставляли белые, быстро краснеющие следы. Нет, не было на Ингигерд никаких колец. Точно.

— Я хочу проверить одну штуку, — сказал он как раз замолчавшему, устав переспрашивать, Дяде Степс. — Не дадите на ночь?

За время паузы он успел сбить на землю и прихлопнуть бежавшего по стенке палатки паука; по лицу Дяди Степы было видно, что Эдово поведение нравится ему все меньше. Но колечко — далеко не самая ценная из находок, символическая ценность драгметалла и, прямо скажем, невеликая ценность историческая, — при том, что Эду, если уж ему понадобились деньги, проще было спереть всю шкатулку...

— Чтобы утром было, — сказал наконец руководитель, протягивая руку к пирамиде.

Эд кивнул, принимая в ладони крохотный предмет. Перстенек не производил впечатления. Овальный, темно-красный и непрозрачный, явно не драгоценный камень в лапках вполне стандартного вида зажимов. Тусклый металл даже не казался золотом — бронза, дешев-

ка... Вполне реально предположить, что колечко куплено где-нибудь в вокзальном ларьке, зато в правду — в его почти тысячелетний возраст — верится с трудом.

Кольцо с пальца скелета; оно было на ней, пока она гнила, и еще шестьсот лет после. Эд поморщился, двумя пальцами опуская его в карман. И поднялся, и вышел, тщательно задернув за собой полог.

Добежать, подхватить на руки...

...Странно пахнет мех плаща. Руки в кожаных перчатках, упавшие на его, Эда, плечи...

Он задавил в себе воспоминание. Я уже не имею права. Пока все не станет ясно; пусть все скорее станет ясно...

Мне нет прощения, как сказал кто-то когда-то.

...От остывших углей еще пахло дымком. Они не заливали костер, пренебрегая правилами противопожарной безопасности. Эд сидел на песке у обложенного камнями кострища и смотрел — на черную груду углей, на светлеющий в темноте пепел... Ткнул один из углей пальцем — крупный брусок распался на сразу потерявшиеся половинки.

Дерево — тоже органика, думал он. Человек сгорает точно так же — вздувается и лопается кожа, шипят в пламени кровь и сукровица... И волосы вспыхивают легко и мгновенно, а потом все обугливается, как дрова...

И запах. Пресловутый, многократно описанный запах горелого мяса — даже вообразить его Эд не мог, он даже шашлык в костер никогда не ронял, он вообще не любил шашлыки... Сожжение на костре он видел только в кино. В «Жанне д'Арк», например.

...Вот палач подносит факел, и занимаются вязанки хвороста. Желто-оранжевые языки пламени, пробивающиеся сквозь щели в досках помоста, и тучи летящих искр... и завернутые за столб руки, пальцы, вцепившиеся в цепь кандалов... Он не пошел бы своими ногами — значит, или тащили силой, или уже не мог сопротивляться...

Эд затряс головой, давя в пальцах холодные угли. Вдруг представился костер, сложенный в его, Эда, дворе, под окнами родной девятиэтажки; и как сбегаются на зрелище дети и взрослые, а сверху, с низкого серого неба, летят снежинки...

Впрочем, на Руси, кажется, сжигали в срубах. Или нет?..

А ведь он, наверно, звал меня, понял Эд с ужасом. А я не слышал. Я пел и плясал, счастливая сволочь, пока его там... Хотя с чего я взял, что он ценит меня настолько, чтобы считать способным помочь?

Ценит... Ценил. Семьсот лет назад. Семьсот лет назад прогорел костер, а потом пришла весна, и талая вода размыла остатки пепла... а потом прошли годы, и зажглись другие огни, обмотанные горящей паклей стрелы воткнулись в стены, и стены рухнули, раскатившись пылающими бревнами... и легли все, кто когда-то стоял вокруг костра, разжигал, подгребал, стерег... а кто не лег, те, очертя голову, бежали в леса — или, спотыкаясь, побрели на веревках за монгольскими обозами... А неубранные развалины остались тлеть под снегами и дождями, заметаемые землей, ибо никто никогда больше не селился в этих местах... А потом пришли мы.

Ночь дышала ветром, шуршала травой и мерцала звездами. Ночь семьсот лет спустя...

Зола и угли. Я мог его вытащить. Будто только сейчас дошло: МОГ! Сидел бы сейчас рядом, ничего бы ему не грозило... (И не выдержал — покосился сперва вправо, потом влево. Точно и вправду вдруг понадеялся)... Я спросил бы: «Ну что, малыш, тебе здесь нравится?» А он...

Шелестели темные кусты.

Меня, сказал Эд кому-то, сжимая голову ладонями. Меня. Не трогайте его, сволочи, — вот он я, режьте!.. Как рассыпались по подушке волосы — со своеобразным жестким шелестом. Как озадаченно сдвигались брови: ты что-то говоришь? я хочу понять, что ты говоришь! что-то важное, да? Египет, акваланги, песок и море — все, что могло у нас быть и чего уже никогда не будет...

Тамошние почти две недели — здесь чуть больше суток. Сколько я уже пробыл здесь? Примерно полдня. Здешние полдня... дели на четыре... Дня три-четыре. (Вот странно, почему такая пропорция. Это же не параллельные потоки времени, а один и тот же. Странно... И где гарантия, что эта пропорция сохранится при обратном перемещении?)

Должно быть, они поймали его почти сразу, думал Эд. Долго ли... И осекся, потому что эта мысль влекла за собой другие — но остановиться так и не смог. Да и не хотел.

В темном лесу заливались соловьи.

«Ты его бросил. Раненого бросил, да?! Ублюдок, подонок...» Он раскачивался, вцепившись в волосы. В голове проворачивались подробности средневековых пыток.

...Как пульсировала жилка на шее — под моей ладонью. Как стучало сердце...

«Хорошо, — сказал он себе. В ужасе, как затравленный двоечник у доски. — Я повешусь. Я виноват. Я подлец и предатель». — «Да-а?! — завопил внутренний голос, срываясь от ярости. — Знаешь, куда себе... засунь... свое повешение! Знаешь, что они с ним сделали, ты, мразь, такого представить себе не можешь...»

И трещали кузнечики. Комаров не было — репеллент действовал.

...Это было известно. Ты просто не запомнил этого — ты не так уж изучал эту книгу, у тебя просто хорошая память... Там, на дороге, ты побоялся взять его с собой. А бояться было нечего; умер человек, или исчез — для большой истории разница невелика. В обоих случаях потомство отпадает, это главное.

А теперь уже поздно.

...Если бы они его допрашивали, еще оставалась бы надежда. Но им нечего у него выяснять. Куча свидетелей, все видели... Значит, на другой же день — суд. А казнь — либо на третий, либо сразу после суда. Чего им ждать? Сбегали в лес за дровами — и вперед...

Вспомнил самодовольное лицо Всеволода — зубы сжались так, что хрустнуло. Я даже отомстить не смогу. Я не имею права его убить... «И еще семь лет владычествовал Всеволод в мире и благоверии. После одолел его тяжкий недуг, и умер он...»

Густо, по-ночному пахли травы. «Расскажи мне что-нибудь», — жалобно попросила Галка — на туманном лугу, семьсот лет назад.

«Господи, прости мне, — сказал как-то в телеэкране персонаж, помнится, исторического фильма, — но я не понимаю мира, что Ты сотворил».

5. Рогволд

«В первом русском законодательстве — «Русской Правде» (XI век) — смертная казнь как мера наказания формально отсутствует. Вместо нее с виновного взималась тяжелая вира (штраф). За убийство феодалов и лиц княжеской администрации была установлена вира в размере 80 гривен...»

«Государство и право Древней Руси.

«Русская Правда» — правовой памятник периода раннефеодальной монархии».

«Э-дик... Я умираю, Эдик...»

В стену вбито кольцо. От кольца — цепь, ржавые звенья. На цепи, как дворовый пес, — человек.

Полупудовый железный ошейник стер Рогволду шею. Короткая цепь не пускала ни лечь, ни встать; скорчившись у стены — в ознобе, в полубреду — ежился, обнимая себя за плечи скованными руками. Дурнота накатывалась и отступала. Босые ступни оскальзывались на полу, на ледяной коросте мочи и крови. Вглядывались в темноту расширенные воспаленные глаза. Жизни осталось — до свету, а он так ничего и не понял.

За варяга Всеволод приговорил по Правде: восемьдесят гривен виры. Не узнать, зачем Эдик сцепился с гриднями, что двинулись уж разгонять глазеющий народ — во окончание суда... Простенькая мысль — что Эдик виденного не понял, по незнанию языка решив,

будто его, Рогволда, собрались брать под стражу, — не взбрела в русую взъерошенную голову. И в драку-то он встрял, испугавшись за любовника — не мог и помыслить, что Эдик умеет драться, как дрался... а все одно — за такое перед княжьими очами бесчинство чужака забили бы. Не смотреть же было?!

Он поплатился.

Не понимаю, думал беспомощно. Э-дик... Зачем? И — непонятно... Смерть в глазах — а непонятно...

...Второй в куценькой его жизни суд помнился уже урывками — сквозь боль и предобморочную одурь; он не мог и стоять, а выволокли двое гридней — за нарочно сделанные ручки на ошейнике. Босого, в окровавленных лохмотьях, с разорванной плетьми спиной. Его вырвало к ногам Всеволода — на сугроб, — поутру в застенке Макарий-священник с проклятиями бил его головой о стену. А тут Макарий же, стряхивая со свитка падающий снег, читал приговор: «Злобесным умыслом и волшеньем и чародеяньем призове из лесу беса, да наведе б бес беду...» У Рогволда меркло в глазах — а сумел-таки ухмыльнуться. Плешивый гридень Ратша с размаху ударил его по лицу — в кровавом плевке на снегу остались два зуба. «...Сжечь, — заключил Макарий. — Такоже чтут бесы чтущая их».

...Боль. Кандалы в кровь сбили запястья и щиколотки; сквозь задубелое в крови рванье промерзлый камень жжет. В кромешной тьме трясущаяся ладонь шарит по стене — каменная толща, не достучаться...

Эдик. И на дыбе Рогволд не сказал-таки, куда делся чернявый парень, причина всем бедам. Сам про себя не зная, зачем упирается, — бес, давно уж его и нет в лесу, — а... «Погань язычная, чужбинник, еретик! —

выкрикивал Макарий. — Говори!» И Лелюк, палач, мягкой ладонью взяв Рогволда за щеки, разглядывал, силком поворачивая голову: «Ишь ты... Жалко суродовать-то...» ПахнУло жаром от поднесенного факела — свет слепил; трещали волосы, Лелюк замахивался плетью... и била в лицо с размаху выплеснутая ледяная вода, и обломки льда таяли на щеках; он разлеплял мокрые ресницы... «Зрачки врозь», — брезгливо сказал Лелюк, вглядываясь в запрокинутое лицо.

А ныне осталась одна ночь. Известно: убитые им смотрят на него — и, должно быть, княгиня Ингигерд улыбается...

Расширенными глазами — в темь. «Убил. Смердит душегубством-то... зачуют... ОНИ — чуют... Духи... души... Эдик-бес исчез как прах, а я...»

А на льду замерзшей речонки торчит, дожидаясь, сбитый и уж заваленный дровами сруб.

Роняя голову, одно слышал — свое хриплое дыхание. Трескаясь, шевельнулись губы — без голоса: «Эдик, возьми меня отсель, мне больно... Ты можешь же... коли бес, а? Эдик...»

...Как больно. КАК.

Вздрогнул, задев цепью по голому — сквозь дыру в штанине. Закинув голову, размазывал текущую из носу кровь.

...Что били. Истязали. Что клещами ломали ребра. Что — бесчестье... а смерть — в муках...

Затылком — в иней. Спиной — воспаленным, кровавыми струпьями, гноящим мясом... Не зазнобило сильней — затрясло так, что звенели цепи. Ненавистью свело скулы. «Рабы, смерды... За что?! Не виноват я... знаете! Убил — да... а беса... Не знал я, что бес, ну!..»

Клещи. Как... Хруст — внутри, боль, боль — до искр в глазах, а и не крикнуть — горло сорвано, сип один... Не бывает такой боли. Не надо...

«Всеволод, вор, братоубийца... Я клянусь всеми богами, и твоим — светлым, великим... Кровью моего отца, какая во мне... твоей, чтоб... (потянул носом; вышло — всхлип) чтоб тебя гниль разъела, чтоб все беды тебе попали, кровью. Стань я князь, твое мясо свиньям бы... Твои кости... Светозару со щенком — то ж... Не успел...»

Всеволоду — распятый в цепях, давясь смехом сквозь кашель, — он сказал непотребное: варяги, про то все знают, заместо баб берут на корабли коз, — не коза ль родила варягу Олафу рыжую дочку? Всеволод, оттолкнув Лелюка, сам витой сыромятной плетью хлестал Рогволда так, что тот поверил — убьет.

...Сплюнул — кровью. Зашелся кашлем — горло, ребра, от боли мутится в голове. «Кубыть, уже палят...»

Как не хочется умирать. «Э-дик... Макарий все врет... нет правды в его вере... все врут... больно, Эди-ик...»

...Под пальцами тает иней — пальцы гладят, будто лаская, камни стены. Будто живое тело. Рогволд улыбается, закрыв глаза — вспоминая широкие теплые ладони на своих зяблых со сна плечах.

«Я! Люблю тебя! Я!»

Кулаком — в стену. Задохнулся. В глазах — огненные мошки. Боль — дикая, до обморочной тошноты; раненая рука, еще вывихнутая на дыбе, раздутая... Боль. Боль...

Дышал, зажмурившись, трогая языком сохлые губы. Носом в промокшую повязку — лоскут рубахи, — все силился выцедить запах любимого тела. Но смердело гноем и кровью. «Бесу я что? Червь... Не придет он...»

Текли слезы; давясь черной бранью, сглатывая кровавую слюну, слизывал иней со стены. Собирался с силами.

Он знал — обречен. Никто-никто не поможет ему. Ничего не стало впереди, кроме нечеловеческой боли — и все одно смерти; его гнал ужас. Цепи едва хватило — обернуть шею; подбородком прижимая ошейник, на корточках поворачивался, затягивая петлю. Нет стыднее смерти — удавиться, но казнь — принародно, чтоб гоготали, пальцами тыкали... И драться — прыгнуть на Всеволода, цепями разбить голову, выгрызть сердце, — где там... Не ворохнуться...

А еще — таясь от самого себя, костра, ТАКОЙ боли — боялся.

Горло засмыкнуло — услышал, как в висках бьется кровь. Цепью щемило кожу с шеи. Рогволд закусил губу — воспаленная, а боль — глухо... Боль, воздух, дышать... «Нехай, утресь куда как будет больней...»

Хрипя, упирался в стену — отталкивался. Дергались занемевшие губы... но воздух шел, цедился в легкие, Рогволд корчился, зная уже, понимая — все напрасно, туже цепь не затянется, слишком крупные звенья... а сил слишком мало... а цепь коротка...

Легкой смерти — не вышло.

...Была боль в горле. Цепь держала голову прижатой к стене; заходясь кашлем, хотел руками зажать переломанные ребра — от боли не хватило воздуху, снова поплыло в голове... Напрягались под пальцами опухшие бока.

«Гляди, Ингигерд. Радуйся».

Смешок задохнулся во всхлип. Крошки инея таяли на ободранных костяшках пальцев — в капли на языке.

6. Судьба резидента

Рассветное небо в акварельных пятнах облаков. В розоватой дымке, в длинных тенях плыл мир. Где-то в нем спала обиженная Галка — возможно, уже купившая билет до Питера. И родители, и Лидка... Он шел по лагерю и вспоминал.

Сугробы по грудь. Утоптанные тропки посреди кривых улочек, снег вперемешку с навозом, клочья мха между бревнами стен... Закопченные потолки княжеских палат. Все, все тесное, узкое, темное, все маленькое в громадном лесу...

Он не размышлял. Иногда размышлять не стоит. Потому что если задумаешься, сразу поймешь, что поступок твой бессмыслен, безнадежен и обречен... Как пойти грудью на самосвал. Зная, что тебе не остановить самосвала. Просто не идти — нельзя.

...За ледяные заросли на окнах и мышиный писк, вышивку по краю плаща и обметанные губы... черт. За доверие, в конце концов. Он ведь до меня и спал с ножом под подушкой. А со мной — просто дрых, по-детски забрасывая на меня руки-ноги... Он мне доверял, вот. А я...

Я ОБМАНУЛ ДОВЕРИЕ. Доверие чужого мне, в сущности, парня... Ну и что? Мало ли я в глаза обманывал доверявших мне людей? Я сочувствовал Андрею по поводу угнанной машины, а ключи от нее лежали у меня в кармане, а саму ее разбирали у Боброва в гараже... А что Андрей мне сосед по лестничной площадке и мы с ним часто трепались за жизнь — подумаешь...

Черт.

...Как бедная дурочка Ингигерд. Что, не могла она приказать стражникам, чтобы сделали то же самое — бросились разнимать драку? Могла. Могла приказать соплеменникам на родном языке. Но кинулась сама, увидев творящуюся на глазах явную, с ее точки зрения... что? Неположенность, вот. Неправильность. Нарушение установленного порядка вещей. (Пнул ногой подвернувшийся булыжник — отлетев, булыжник ударился о корень.) Ну не была она рождена отдавать приказы, бедная девочка. Происхождение происхождением, а темперамент подгулял. Бывает. Скромная, честная, храбрая... Почти идеал былинного правителя — всегда с народом, всегда в заботе о справедливости и всегда готов броситься сам... Что, не могла она отпустить Рогволда? Могла. Но она ведь вовсе не спасти его хотела. Она хотела, чтобы все стало ПРАВИЛЬНО. Пусть казнь, но по закону. Пусть помилование, но ПО ЗАКОНУ. И она просила бы о помиловании — как подобает жене верховного властителя, олицетворяющей милосердие — в противовес суровости мужа... Не потому, что вы ей были симпатичны, терпеть она вас не могла, — а потому, что ПОЛОЖЕНО так, понимаешь? А вы все сделали по-своему. (Оскалился, вспоминая.) «Нельзя так...» Можно, милая. Еще и не так можно.

...В рюкзаке нашелся толстый свитер — когда-то Эд носил его и зимой. Треники можно надеть под штаны; шерстяные носки — вместо портянок... Эд ползал, собирая вещи, замирая каждый раз, когда Витькин храп обрывался. Свет из открытого входа падал Витьке на лицо — но не собираться же в темноте.

На раскладном столике еще лежал мобильник. Что-то тупо царапнуло на дне души. «Это безнадежно, — сказал в голове отцовский голос. — Ты же сам понимаешь. Это — БЕЗНАДЕЖНО. А мы...»

Эд отвернулся.

Он запихнул в рюкзак грелку, которую Диночка одолжила Витьке, когда у того разболелась спина. Странное зеленое устройство, в котором при нажатии запускается якобы химическая реакция, идущая с выделением тепла. Грелка была большая — можно будет засунуть под одежду, и авось от холода не сдохну. Точнее, сдохну не от холода.

А шевелиться было больно. Особенно нагибаться. Он стискивал зубы, поминутно хватаясь за разные места. Хороши мы там будем, однако. Парочка...

Второй комплект одежды решил не набирать — из сусверия.

Из-под кучи барахла он выкопал Витькин «макаров» и коробочку с патронами — пеструю, хорошенькую... Подумал, что стоило бы написать записку, но бумагу и ручку тут так просто не найдешь. Поэтому он просто поаккуратнее разложил перерытые тряпки. Есть шанс, что сразу и не хватится. Хотя, конечно, рано или поздно...

Стоя на четвереньках, взвесил пистолет в руке. Игрушка. Стены, кольчуги... Да его убьют у меня на глазах, и я ничего не смогу сделать!..

Не страх — это был УЖАС. Внутри будто пролился кипяток. Будто анестезированная рана вдруг опомнилась. Эда затрясло, на какое-то время он вообще перестал соображать. Зажмурившись, вспоминал. Ру-

сая макушка. И по-мужски редкий стук сердца. У женщин пульс чаще... Жизнь моя. Любовь моя. Я ничего не сумел. Даже сказать тебе на твоем языке. Не сумел. По-че-му?!

Стенка палатки прогнулась под напором ветра. Подрагивая, шелестела прорезиненная ткань. Пусть он плюнет мне в рожу и будет трижды прав — только бы...

Эд вдруг обессилел. От страха. Больше ничего не хотелось — только забиться куда-нибудь и съежиться. Ничего не видеть, не слышать, не знать... Заткнись, заткнись...

На левом запястье остался четкий отпечаток зубов. Одной рукой прижимая к груди рюкзак, Эд выбрался наружу и тщательно занавесил вход. Переводя дыхание, пощупал в кармане рубчатую рукоятку. Бедный Витька, конечно, он и шум-то поднять не сможет — узнает Дядя Степа про пистолет в экспедиции, до ректора дойдет... Ничего. Жив буду — извинюсь.

У палатки Паши и Диночки он постоял, трогая край стены босой ногой. Стенки больше не дергались — должно быть, внутри наконец уснули. Он присел и подсунул книгу под полог.

...Переодевался он в роще, у большого валуна. Пустой рюкзак взял с собой — лучше пусть там валяется, чем чтобы тут его нашли ребята и черти занесли бы их вслед за мной.

Только сейчас он понял, что все это время твердил про себя строчку из старой газмановской песенки: «Может быть, я обратно уже не вернусь, как ни жаль, ка-ак ни жаль...» Закатал штаны — мокрая от росы трава хлестала голые ноги. Пальцы на ногах сразу застыли. Сколько мне еще мерзнуть, думал он. И зачем?

«Они и тебя на костре сожгут, — говорил внутренний голос. — Как соучастника. Неужели ты думаешь, что ему от этого станет легче?»

В бледном небе раскачивались ветви. Сумрачно-зеленая рябь листвы.

«И не пистолет тут реально нужен, а автомат. Значит, ехать в город, где-то раздобывать — и я могу его раздобыть, но время, время...»

И автомат ни к чему, понял он — и остановился. Я не имею права их убивать. Мне их напугать нужно... Ракетницу бы, что ли...

Черт.

Он шел. Сквозь птичье тинькание. Сквозь запахи — прелой земли, мокрой зелени, чего-то цветущего...

«Опомнись, — сказал внутренний голос. — Ради кого ты... Он же мразь, он же...» — «Он просто несчастный ребенок...» — «Врешь. Ты никогда не производил впечатления идиота, Эдик. Не начинай. Убить человека, который тебя защищает — это... это я не знаю, как называется...» — «И я не знаю. Можете меня отстрелить за аморальность. Только, Господи, пусть я сначала его спасу, хорошо?..»

В развилке березовых корней — темные листья и белые шарики ландышей. Эд осторожно перешагнул.

«Пусть лучше не сработает, — думал он. — Я помучаюсь и перестану, а жить я все равно хочу...» — «А он тоже мучился! И ему было больнее, чем тебе!»

Тумана над лугом не было. Часов, правда, больше не было тоже — где-то во тьме времен остались его часы... Но почему-то он был уверен, что ничего странного в мире не происходит. Что машина времени не

сработает. Потому что на свете есть такая вещь, как непоправимые ошибки.

Колечко он, поморщившись, все-таки надел на мизинец. Больше его некуда было девать.

У дерева-ориентира натянул сапоги. Постоял, прижавшись щекой к стволу, провел ладонью по сломанной ветви. Прости меня, дерево.

Из-за дальнего края луга всходило солнце.

Шаги он считал шепотом — вслух. Раз, два... четыре... шесть... Ноги двигались все медленнее. Семь... Он остановился. Поправил пустой рюкзак за плечами. Облизнул сухие губы. Сглотнул. Зачем-то зажмурился и изо всей силы втянул воздух.

И шагнул.

Июнь 2000 г., ноябрь — январь 2001 г.

САГА О ФАНТАСТЕ

— Ну что, Кузькин, — сказал Бог, скорбно глядя из-под седых бровей. — На что же ты растратил свою жизнь, Кузькин?

Душа Кузькина, в прошлом популярного, а ныне покойного писателя-фантаста, под взглядом заерзала.

...А дальше, наверно, стоит начать сначала.

Был Кузькин, можно сказать, современный классик. Одних собраний сочинений на библиотеку. Глянцевых таких. Герои — за челюстью глаз не видно, героини — над бюстом едва нос торчит. Такой, знаете, в стальном лифчике бюст, что из бластера стрелять неудобно — руки вытягивать приходится. Нормальные герои.

И сам был Кузькин — герой нашего времени. Писатель-стакановец. Одна лысина, три подбородка. Морда в целом кирпича просит. Брюшко. Хобби — бутылка. Нормальный классик. И даже пал, можно сказать, смертью храбрых на ниве отечественной литературы. Кто скажет, что смертью трусливых — пусть первый бросит в меня камень.

А пал Кузькин с навеса над крыльцом — в пансионате, где происходила конференция фантастов. Как потом в некрологе написали — «в результате трагического

несчастного случая». С утра похмелился у себя в номере, ну и геройски вышел погулять через окно на крышу. Может, он решил — это балкон такой. Удобный такой балкончик. Просторный. Без перил. И выперся, значит, на променад. А дело было зимой. А крыша обледенела с оттепели. Несчастный случай, сами понимаете.

— ...Растратил, — испуганно созналась пропахшая перегаром душа, попирая босыми пятками небесное облако. — Мало написал, знаю. Так не за деньги же... для читателя... забота о качестве...

— О качестве, значит, — сказал Бог и прищурился. — А ведь были у тебя способности, Кузькин. Сантехник бы из тебя получился неплохой... на худой конец... Кто ж тебя писать надоумил-то, а? Жена?

— У меня голова семьи — я, — гордо заявил Кузькин. — Жена только стиль правила.

— Ах, сти-и-иль, — Бог взмахнул дланью, и перед ним из воздуха возникла стопка Кузькинских сочинений. Верхняя книга сорвалась — замелькав страницами, сама раскрылась на нужном месте. — Голова, значит, семьи... А ум семьи у вас кто? — И — не дожидаясь ответа: — Зачитываю: «Он взял ее двумя руками под пышным тазом и страстно укусил в рубиновые соски...» А у самого, небось, золотые зубы были. Такое кусать... Кузькин! Что у тебя в школе по русскому языку было?

— Четверка, — огрызнулся классик.

— Не верю.

— Ну тройки... иногда... К мелочам цепляетесь, — скорбно заявил Кузькин. — А народ за мои книги трудовыми рублями проголосовал. У меня тиражи...

Из стопки, шелестя страницами, выпорхнул очередной том.

— «Мимо со свистом проносились кометы. Корабль стремился к солнцу, чтобы укрыться в его тени». Кузькин, а по астрономии?

— Не помню!

И не соврал. Не помнил он ни отметок по астрономии, ни, хоть убей, самой астрономии. А помнил из нее только некоторые — нужные для дела — специальные термины. Которые, вдобавок, в школе не проходят. Вроде «плоскости эклиптики». Да и в тех не был уверен. Всегда он полагал, что термины проверять — дело редакторов. Кому больше всех надо, пусть те и проверяют. А что редактора у нас в большинстве тоже не астрономы, ну так и читатели не космонавты. И так сойдет.

— Я всю жизнь, — дрогнул голосом Кузькин, — со школы еще знал... сердцем знал, что мое предназначение — для людей... Литература...

Бог сидел на облаке и задумчиво разглядывал Кузькина. Бог был седой, бородатый, с сияющим нимбом над головой. Глядеть на нимб было больно. Кузькин моргал и отворачивался. Бог над ним издевался, не иначе.

— Кузькин! «Лица без признаков интеллекта: у одного сломан нос, у другого изуродованы ноги...»

Кузькин — убитым шепотом — не сдавался:

— Я со школы...

— Да помню я твою школу, — перебил Бог. — «Троянцы втащили коня в город, напились от радости и заснули. Тогда греки вылезли из коня и овладели местными жителями».

— Я сердцем... — Кузькин возвысил голос и ударил себя в грудь. — Душой... вы вот смеетесь...

— Да-да. «Холодный пот ударил ему в голову и душа ушла в пятки». Как сейчас помню. «Естественным плодом их любви стала скамья подсудимых».

— Меня даже воры в законе уважают! — крикнул Кузькин. — Я еще когда в спецназе служил...

— Где?

Кузькин осекся.

— Ну, не служил... Ну и что? Рекламный брэнд — святое дело! А в военном деле я разбираюсь! Я, когда не только про космос пишу...

— «Корабль летел, как авиабомба, выстреленная из пушки. Пот стекал по лицу космонавта, прокладывающему путь к планете».

— ...Я душу вкладываю! Легко... к мелочам...

— Производственный брак ты у меня, Кузькин, — сказал Бог с тяжелым вздохом. — И ведь хотела же мать твоя аборт делать...

Кузькин осекся снова.

— Так грех же, — сказал он оторопело.

— Грех, — согласился Бог. — Так такое писать — тоже грех, Кузькин...

Душа сникла. Ковырнула облако озябшей пяткой. Внизу, в прогале, плыл самолет.

— А горячку помнишь, Кузькин? «Начавшаяся предродовая горячка помешала Клеопатре похоронить Цезаря...»

— Ну? — мрачно спросил классик.

— Не «ну». Бывает, Кузькин, родовая горячка. Сепсис. Развивается после родов как следствие антисанитарных условий. А ПРЕДродовая горячка — только если белая.

Душа попыталась гневно выпятить грудь; выпятился живот — волосатое брюхо из-под майки. В этой самой майке классик Кузькин в пансионате склонял к развратным действиям гипсовую пионерку — не по злому умыслу, а исключительно спьяну и сослепу. По ходу дела жалуясь белой и холодной соблазнительнице на судьбу и халтурщика-литагента, без проверки уславшего в печать лично им, Кузькиным, составленный английский текст интервью, якобы данного американским журналистам; по сравнению с английским, астрономия была Кузькинским любимым школьным предметом — фраза о том, что «непонимание имело писателя интриганами и завистниками», получилась еще из самых удачных...

Впрочем, будучи бюстом и держа в зубах свисток, пионерка в любом случае затруднилась бы с взаимностью.

Душа рванула пыльную майку.

— Я... людям! От сердца! А вы...

Бог отер взмокшее чело. Сказал в пространство:

— Цезаря позвать, что ли... Или Клеопатру...

Душа застыла.

— К-как? То есть... — И нашлась: — А они никто русского не знают.

Бог, повернувшись, глядел отечески. Душа заерзала.

— У меня, Кузькин, на тебя очередь стоит, — сказал Бог с ласковой улыбкой. — Самое гуманное предложение — побить камнями. Это Аттила, у него фантазия бедная...

Онемевшая душа попятилась. Хотела пасть на четвереньки — живот помешал. Пала на колени.

Всегда исторические деятели служили Кузькину самым благодарным и безответным материалом. Покой-

ники — они ж бессловесные, даже великие. В морду не плюнут.

И вдруг — на тебе.

— Прости, Господи, — пролепетал Кузькин. Вспомнил Аттилу, а заодно и Цезаря, а заодно уж и Клеопатру, — прикрывая руками голову, завопил с новой силой: — Прости, Господи!

— Гореть тебе в аду, Кузькин, — заключил Бог со вздохом. — За заслуги перед русской литературой.

И разверзлось под Кузькиным облако. Только вместо голубой пропасти неба он увидел подсвеченную пламенем адскую тьму.

— И только одним способом можешь ты спастись! — грянул Бог и поднялся — и гневные молнии сотрясли небо за его спиной. — НАПИШИ ХОТЬ ОДНУ НОРМАЛЬНУЮ ВЕЩЬ! ХОТЬ ОДНУ!

...Падая, Кузькин в ужасе дрыгнул ногой — и проснулся.

Потный от страха, он лежал в своей постели. В своем номере в пансионате — отдельном, по рангу. И брюки его висели на спинке стула. Перепачканные белым — привет от неуступчивого бюста.

И призывно поблескивали бутылки на столе.

— Не хочу, — бормотал Кузькин, вылезая из постели — босиком, спотыкаясь о пустую стеклотару, пробирался к столу. — Я для подростков пишу... в доступной форме... Я вам покажу литературу! — крикнул он, вытаскивая из-под пакетов с закусью ноутбук.

В ноутбуке водился начатый текст — будущий космический супербоевик «Хромой против Косорукого с Мечом Силы».

Писал Кузькин до рассвета. Вдохновлялся из бутылок ноль семьдесят пять. В девятом часу вторая бутылка подошла к концу, а клавиатура расплылась в глазах — а заодно и набранный текст, а заодно и весь ноутбук. Кузькин ноутбук выронил на кровать и продолжал сочинять устно — расхаживая по комнате. Вслух.

— «...В ее глазах отражалась гибель в страсти, куда он падал, ухваченный желанием...» Я мог... это... вообще бы указать, за что именно ухваченный! А я не указал! Для подростков!

За окном светало. В слоистой мешанине подсвеченных облаков бубнящему Кузькину вдруг померещилось — бородатое гневное лицо, сдвинутые брови...

Он отмахнулся.

— Не мешай! «...Удар лобной костью в живот вбил противника в пол. Стремительный разворот... это... правой ногой вокруг оси левой... Страстно извиваясь, девушка выплеснула из себя нектар страсти и откинулась...»

Да и то — ну как, если подумать, мог бы Кузькин различить прихотливый рисунок облаков, если уже не видел ничего в полуметре от себя?

В десятом часу, прищурясь, классик уловил в комнате присутствие солнца. Поразмыслив, стал собираться на завтрак — поверх спортивных штанов натянул чистые трусы, нахлобучил шапку, обул рукавицы и стал искать дверь.

Двери он не нашел. И, ощутив себя героем-богоборцем, устремился к окну. Заклеенная рама подалась с треском рвущейся бумаги. Продолжая бормотать, богоборец перевалился через подоконник — на крышу над крыльцом.

...А крыша-то, как уже говорилось, была скользкой. Обледенела с оттепели.

* * *

В ночь после поминок вдове Кузькина (бодрствовавшей — на четвереньках, в обнимку с унитазом) было видение. Размазывая слезы по небритым щекам, покойный муж умолял ее уйти в монастырь — дабы замаливать его, классика Кузькина, грехи и тем избавить его от адского пламени. Или хотя бы пожертвовать церкви сбережения, уходящие корнями в его же, Кузькина, неправедные доходы.

У вдовы на сбережения, а тем более на себя были свои планы — видение вызвало у нее чувство протеста. Утирая похмельную слезу, клялась: больше ни-ни! ни капли! ни в жизнь! — и упрашивала Бога образумить зарвавшегося покойника.

Вот так белая горячка (несомненно, предродовая) хоть и не помешала ей похоронить мужа, зато помешала должным образом отметить это событие.

А родила вдова через полгода. Как выяснилось впоследствии — от соседа.

27 августа, 5—12 сентября 2002 г.

ТАНЯ

В стакане с минералкой плавала одинокая лимонная долька. Из-под хипповского «хайратника» — наголовной повязки — челка лезла девчонке в глаза. Опустив голову, девчонка глядела на суету газовых пузырьков, и он видел пробор в каштановых волнах волос — точно посередине. Волосы были не длинные и не короткие: сзади — до плеч. Густые, очень красивые волосы. И разноцветные бисерные ромбики на коричневой, кое-где растрескавшейся коже «хайратника». В прошлой жизни «хайратник» почти наверняка был брючным ремнем.

И серая, застегнутая доверху джинсовка на девчонке была явно с чужого плеча, скорее — с мужчины, из широкого ворота беззащитно торчала тонкая шея, и почему-то он был почти уверен, что под джинсовкой больше ничего нет.

...Как будто ее впопыхах одевали в чужое. И штаны — модные псевдосолдатские, защитно-пятнистые, с многочисленными карманами, были ей велики — так и представлялся утянутый на талии, под курткой, пояс, за счет которого они только и не падают; и все это было не просто ношеное, а ношеное и нестиранное, мятая затерханная джинса, грязевые разводы на внутренней сто-

роне манжет, а девочка была такая чистенькая, совсем из другого стиля, лежащие на засаленном воротнике завитки волос были такие свежевымытые, пушащиеся, рассыпающиеся... Даже волосы у нее были такие же, как у той, другой. И глаза — слишком широко расставленные, большие, раскосые... Как у кошки. Редкость, если разобраться, — он первый раз видел такое.

Точнее, второй.

Он заставил себя отвести взгляд. Она же не просто похожа. Она — копия. Дубликат. Дубль два.

А может быть, и нет.

Он вертел в руках стакан. На поверхности пива — тени от отпечатков пальцев на стекле. Что осталось от той девушки? Черно-белые фотографии посредственного качества. Цвет волос, цвет глаз, оттенок кожи... А все нужные тексты — переводы с французского либо английского, а в английском, к примеру, шкала цветовых определений куда беднее — «blue», в частности, у них и «синий» и «голубой», хотя дураку понятно, что голубой и синий — совсем не одно и тоже. Голубые глаза — они были серо-голубые? Просто голубые? Темные? Светлые? И то, чего не могли удержать никакие фотографии — манеры, походка, голос... Впрочем, насчет манер-то как раз проще — сохранилась кинохроника.

...Мельтешащий загогулинами царапин телевизионный экран. Четыре одинаковые царские дочки поочередно подходят целовать икону — то ли публичный молебен, то ли крестный ход. Очередной документальный фильм о последних Романовых. И Генка, задыхаясь и фыркая, читает из тонкой растрепанной книжки — чьих-то мемуаров: «Она была свежа, хрупка и чиста, как роза...» — и с гоготом валится на диван, на искуствен-

номеховой плед с дурацкими оленями у водопоя, — а откашлявшись, продолжает: «Она была наделена изящным профилем камеи...» Над диваном качается задетое бра, и тени мечутся по стенам...

— Забавно, что ты тоже Таня, — сказал он.

Она подняла глаза. Отставила так и не початый стакан.

— Забавно?

Губы у нее были не тонкие и не пухлые. Пальцы — не тонкие и не толстые. Плечи — не прямые и не покатые. Нос красивый — тонкий, чуть-чуть приподнятый... да вот еще ресницы — темные, длинные... Ничего особенного. Еще кто-то из охранников Ипатьевского дома, попавшись белым и давая показания, по поводу внешности царевен сказал — ничего особенного.

...Вспышки молний за высокими старинными окнами. Вода стекает по стеклам сплошной пеленой, точно из направленного шланга. Тусклые блики на полосатом шелке гардин. «Обратите внимание вот на этот задрапированный проем в глубине комнаты. Через эту дверь вошел генерал Корнилов, чтобы сообщить императрице, что она арестована». — «А портьера подлинная?» — И негодование в голосе маленькой рыжей экскурсоводши: «Нет, конечно!» Кучка людей, гуськом бредущих вдоль белых веревок, отгораживающих проход через анфиладу комнат от собственно комнат. «Будуар императрицы, так называемая сиреневая комната. Самое знаменитое помещение в России начала двадцатого века!» «Чайный столик, подлинный — вот, мы видим его на фотографии, сделанной в то время... (Круглая, мелкоморщинистая старческая рука показывает на громадный, во всю стену черно-белый снимок.) Сервиз, подлинный...»

Осколки быта. Бывший царский дворец, во времена блокады побывавший штабом германского командования, ныне поделенный между новоявленным музеем и военным институтом — в одно крыло пускают экскурсантов, другое огорожено колючей проволокой; неприветливые тетки-экскурсоводши с их отработанно-скорбным: «Здесь столько бурь пронеслось...»

И эта худая, с почти изможденно осунувшимся лицом девчонка, бродившая вроде бы с экскурсией и в то же время отдельно, приседавшая перед стеклянными шкафчиками-витринами в одном конце зала, когда все уходили в другой... И в уже последней по счету комнате — бывшей царской ванной, известной как Мавританская уборная, — она задала свой единственный вопрос. «А от детских комнат осталось ли хоть что-нибудь?» — «Весь второй этаж — институт». И только тут он обратил внимание на ее лицо. Детские комнаты...

Экскурсанты уже выходили в распахнутые двери, у киоска с сувенирными открытками снимали и бросали в корзину сменную обувь — громадные растрепанные тапки с резинками вместо задников. А она повернулась и пошла обратно — по второму кругу. И он пошел за ней. Держась на расстоянии, приглядывался — сомневаясь, удивляясь и обалдевая... Ему становилось все интереснее.

Ему и сейчас было интересно.

И никто, никто больше не заметил в ней ничего особенного. Слишком нерезкими были редкие фотографии на стенах... Неприязненно смотрели тетки из персонала, о царской семье повествовавшие чуть ли не со слезой в голосе. «Девушка, ничего нельзя трогать!» —

«Но веревку-то можно?» — «И веревку нельзя! Если каждый потрогает... Я ее стирала, так вода черная была!»

Навстречу двигалась следующая экскурсия — с другим, но так же вдохновенно бубнящим экскурсоводом. «Мундиры старших дочерей, Ольги и Татьяны. Все дочери Николая Второго были шефами полков...» Он запомнил мундир Татьяны — синий с желтым. Головной убор, похожий на лакированную каску, с козырьком и конским хвостом на макушке. Мундиры шились точно по фигуре, и по ним можно судить о телосложении. Талия. Грудь. Плечи — не прямые и не покатые...

В соседней витрине сидела кукла — большая, с локонами, в пожелтевших розовых кружевах. А у витрины стояла девушка, прижавшись лбом к стеклу.

...Ветер трепал фигурный край зонта над столиком, мел песок по плитам террасы. По ногам дуло.

— А понравилось ли вам... там? — спросила она, сглотнув — нервно.

— Давай на «ты», — предложил он.

— Тебе... понравилось? — помедлив, поправилась она.

Он пожал плечами. Нет. Слишком низкие потолки, слишком маленькие, тесно забитые разнокалиберными предметами помещения, слишком мало света... И все это облезлое здание на окраине парка, которое он поначалу счел захудалым павильоном, а уж никак не дворцом... Если уж на то пошло, у него куда больше положительных эмоций вызывал берег пруда — в погожие дни умилительное воплощение мечты ранних коммунистов. Перед бывшим царским дворцом, на самом охраняемом когда-то бережку России бегают дети простых людей, рассаживаются на покрывалах и полотенцах семейства, и девушки плетут венки из ромашек...

Он промолчал. И она снова замолчала. Официантка, женщина с лицом накрашенного поросенка, забрала у него пустой стакан.

...Он проморгал момент, когда она ушла. И когда сбежал с крыльца на мокрый после ливня песок двора, ее нигде не было видно. На скамейке у крыльца курила освободившаяся экскурсоводша. «Скажите, а еще какие-нибудь достопримечательности здесь есть?» Женщина развела руками — в одной сигарета, — затем показала в сторону пруда. «Вот — Татьянин дуб». — «Почему — Татьянин?» И он услышал трогательную историю о том, что играть в парке с царскими детьми иногда приглашали посторонних ребятишек, но те не всегда понимали субординацию и иной раз случались ссоры. Обиженная Татьяна не шла жаловаться, она просто отходила в сторону, к тому вот дубу, и оттуда смотрела на играющих...

Она и стояла у дуба, положив ладони на морщины коры. Дубы у пруда и вправду были старые, дубы-великаны, кора затянула шишки на месте срубленных когда-то — должно быть, еще царскими садовниками, — ветвей... Она не оглянулась на звук шагов. Напряженные пальцы гладили, ощупывали ствол.

— Меня зовут Игорь, — сказал он, остановившись в шаге.

Она обернулась — и в первый миг он решил, что напугал ее, а потом струхнул сам. Она молча смотрела на него, и зрачки ее были огромны, лишь по краю радужки оставался ободок — голубой без претензий. Потом прижала пальцы к груди, будто указывая на себя — так в фильмах знакомятся представители разных народов, не знающие языка друг друга.

— Таня.

...И потом они шли по улице — сквозь запахи зацветающей сирени. Улицы Пушкина почему-то напоминали ему южные города — особенно вот эта, выходящая к вокзалу. В Крыму по таким же улочкам толпы курортников валят к морю...

— Таня, — сказал он. — Улыбнитесь. А то мне все время кажется, что я вас обидел.

...А когда за полями уже поднялись здания Питера, «маршрутку» подбросило на колдобине, охнул сидевший напротив парень с видеокамерой на коленях, женщина рядом уронила сумочку, и пальцы девчонки вцепились в его плечо. Даже сквозь рубашку они показались ледяными.

А теперь он разглядел их как следует. Ногти, синеватого-сиреневые у корней.

И зрачки во весь глаз.

— Таня, — сказал он, поднимаясь. — Ты все равно ничего не пьешь. Пойдем, я тебя провожу... Где ты живешь? — спросил он, когда они выбрались из лабиринта столиков и спустились по ступенькам. (Она махнула рукой куда-то вдоль аллеи.) Там? Ну, это ты путаешь. Там Петропавловкая... через мост... Ты что, плохо здесь ориентируешься? (Она неожиданно кивнула.) Да? Ну... А вон там аттракционы. Может быть, лучше туда сходим? Ты на «американских горках» каталась?

Он тараторил — ему вдруг искренне захотелось развлечь эту странную неулыбающуюся девицу, так непонятно, невозможно похожую на расстрелянную восемьдесят лет назад царскую дочь. Рассмешить ее, что ли.

И она улыбнулась. Впервые. И, помедлив, — кивнула.

* * *

С террасы кафе вслед им смотрел третий. Насвистывал, наблюдая, как они уходят по аллее. Подмечал: а хмырь-то травит целочке на ушко, старается; вот и за ручку цапнул, а она — будто так и надо, во как...

Они шли, и вместе с ними смещался наведенный крестик прицела.

...Прикольно, что все-таки сегодня, думал он. И не дата вроде никакая. Не годовщина расстрела. Просто, что ли, день такой подходящий? Серый. Без теней. Типа: кому стукнет в башку, что под ее ногами тени не будет, хоть солнце обсветись...

Он поерзал локтями по ржавым перилам. Сзади официантка звякала посудой. Кафе закрывалось.

...А задница у нее ничего такая, м-м... И грудь, между прочим, немаленькая... Не, самая классная телка в их-ней семейке — это, конечно, мамаша в молодости. Такая, блин... смотришь фотки — так бы и ущучил, и пощупал... Потом разжирела, конечно, расплылась, — а поначалу, вообще... Жалко, что такая дура. На такой если жениться — только трахать без передыху и говорить не давать. Так и то она одной по жизни козьей мордой со свету сгноит...

Гоготнул.

А чего, говорят же — хотели их всех трахнуть перед расстрелом. Да чего-то сорвалось.

...А парень, конечное дело, типа ничего не замечает. Прям в лучших традициях «ужастиков»... никогда дураки вовремя не секут, что рядом с ними — труп. Уж и смотрят, блин, и щупают — и холодный, и морда белая, и улыбка кривая, и зрачки на свет не реагируют... И клыки, между прочим, изо рта выглядывают... Интересно, как у

ней насчет клыков? (Поморщился, не сводя глаза с шагающей в круге объектива парочки.) И на фига ей взбрело тащить хмыря с собой в Петропавловку? К могиле?

Внизу проехала машина — мелькнули рядом с водителем голые бабские коленки. У лотка с воздушными шариками громко лопнул оранжевый в яблоках конь.

...А на фига им вообще убивать? Еще один выплеск энергии, что ли... Типа катализатор, во как. Кровь — воплощение жизненной силы... А без этой крови, вообще, ничего не будет, процесс не запустится, максимальный срок существования зомби в стадии куколки — около сорока часов... Во как, е-мое!

И откуда, главное, они сами это знают? А ведь знают, факт. Даже если при жизни ничего такого им и в башку не вступало. Чуют.

...А будь у меня по правде автомат? (Подкрутил колесико увеличения, навел крестик на спину в мешковатой серой джинсовке.) Как в кино, картиночка: на куртке одна за одной рваные дыры, а ее бы так только покачивало... И смотрела бы на меня, как целочка. Большими чистыми глазами.

Охотничек, блин, за привидениями. (Поднял камеру на плечо. Двое уходили, держась за руки.) А пареньто ржет, козел, и ни о чем таком не думает... Вообще, козел-то я. Убийца. Уже почти. Но... Вот я, как, вообще, блаародный, его цап и скажу — а хрен ее знает, может, она вообще пропадет тут же, и все. Так что — сам дурак, каждый за себя, а благородство стоит дорого. Я, может, этого дня два года ждал, я только по Романовым месяц за расчетами сидел...

Он спускался по ступенькам, перешагивая через плевки.

...Один человек из нескольких, и чтоб погибли одновременно и в непосредственной близости друг от друга. Причем чтоб именно погибли, а не своей смертью померли. А по здоровью причем чтоб могли бы жить еще долго, смертельно больные какие-нибудь — на фиг, сюда не годятся... Скорость накопления энергии зависит от количества покойников; в среднем — несколько десятилетий. И еще чего прикольно — больше одного человека на группу не бывает. Хоть бери за группу всех павших в какой-нибудь там супер-битве и со всех воюющих сторон. Только скорость энергоконденсации выше и несколько больше потенциальный срок действия зомби. Но это — не намного, все равно в пределах нескольких лет...

Я гений, блин!.. Типа, прорыв в науке, величайшее открытие... Новое, совершенно неожиданное проявление закона сохранения энергии! Это их энергия, им бы еще жить да жить, а — облом, а энергия осталась... Ага, блин. Гений-вундеркинд, двадцати трех лет, подогнавший, блин, научное обоснование под сказки о вампирах! Обломись, научники. Я лучше на одной этой пленке бабла срублю...

Он шел за ними, прячась в толпе. Он ошибся — они не свернули к мосту. Но пока с маршрутом ему везло — это были на редкость удачные кадры. Лотки с сувенирами, бесчисленные игрушки за стеклами ларьков, гроздья разноцветных воздушных шаров... Тонкая фигурка в таком нелепо не сочетающемся со всем ее обликом прикиде, так очевидно чужая идущему рядом смеющемуся парню, бледное неподвижное лицо на фоне праздника жизни...

Сплюнул под ноги.

Абзац. Ишь, идет... плывет... Расходилась тут, падаль, как, вообще, у себя дома...

Тут он спохватился. О ком это я так думаю? Сплюнул еще раз.

...А что? Царская семья, блин. Святые, блин! Видали вы таких святых? То, что эти рожи отвечают за Первую Мировую, за Вторую Мировую, которая прямое следствие Первой, уж про гражданскую молчу, — это не, все фигня. Это народ можно в блокаду Ленинграда голодом морить, а царей стрелять нельзя, не-е-е... Кто нам большевиков накачал?!

...Качались спины в объективе. Одна — в синей рубахе, другая — в серой джинсовой куртке; нашлепаю фоток, продам... Масс-медиа, «желтые» газетенки... Вау, какие бы заголовки зафигачили! Или бы всю пленку оптом загнать. В какую-нибудь паранормальную телепередачу. Гуляй, шиза, типа!.. Да. А ее-то, Таньки, на пленке и не окажется. Так и будет хмырь с пустым местом разговаривать... Вот так вам и видеозапись в качестве доказательства. Фига, обломитесь. Нам, гениям, в дурдоме не место.

А может, и наоборот — на пленке проявилось бы чего-нибудь, чего я простым глазом не секу. Сияние какое-нибудь. Или предметы через нее станут просвечивать...

Он нагнал их у лотка с нэцке. Это был экспромт. Внезапная идея. Ништяк, мы люди простые, нам не в лом...

— Молодые люди!.. — позвал он еще с расстояния. — Молодые люди, — продолжал, когда они обернулись. — Я с телевидения. (Он улыбался изо всех сил. Само собой, они могли его узнать. В музее и в метро могли и не засечь, а вот в «маршрутке» из Пушкина до Питера... Ну и криминал, что ли?) Мы готовим передачу о лете в нашем городе. Вы не против, если я вас немножко поснимаю? Вы будете туристы...

Из-за расширенных зрачков ее глаза были черными. Ничто не дрогнуло в ее лице — худом, с проступившими скулами, обескровленном до изжелтой зелени... сухие бледные губы, тени в глазницах... Она все молчала — он ждал, ощущая, как его широкая дружелюбная улыбка превращается в натужный оскал. Камера вдруг стала давить на плечо. Способность к самовнушению у него, видно, оказалась не по разуму — ему даже чудился запах. Еле-еле заметный, вдвойне невозможный здесь, в толпе, в нескольких метрах от цветочницы с шеренгой букетов... Какой-то совершенно не органический запах не то новой резины, не то резинового клея, — только раз в жизни ему довелось нюхать подобное. В позапрошлом году — когда Рекс выскочил из кустов с облепленной муравьями дохлой кошкой в зубах.

...Во, блин, вони-то было. Еще пасть Рексу марганцовкой промывали...

Татьяна, не сводя глаз, медленно кивнула.

...А классно держится, думал он, шагая следом за ними. Жел-лезная девка... Как она в метро — на такую лесенку-чудесенку, а ей — хоть бы хрен, с каменной мордой... Хотя — фига ль ей еще бояться?

Он снимал непрерывно — теперь уже открыто забегая с разных сторон. Приседая, ловил отсветы на ее лице. Наверху, в кроне липы шелестел занесенный ветром кулек от букета — небо отражалось в трепещущей фольге.

...Художник был лохмат. Шар полуседых мелких кудряшек — где волосы, где борода... горбатый нос со шрамом поперек, веселые глаза...

— Портрет? Мадемуазель!.. Красивая мадемуазель! Молодой человек! Хотите — двойной портрет? Два лица в листе!..

Она прошла мимо. И плечиком не повела — типа, кто тут такой, вообще... И вдруг круто остановилась. Но — глядя не в лицо художнику, а на выставленные рядком в траве позади этюдника планшеты с готовыми работами — образцами творческой манеры. Он сперва даже растерялся — реально позировать собралась, что ли?

А потом понял.

Разноцветная пыль пастели. Синди Кроуфорд в волнах желто-коричневых волос — каждая ресница прорисована, бородавка эта ее над губой... типа, все хорошо, только вот рот и нос в обратной перспективе разъехались. Внизу листа прикноплена натура — маленький снимок, вырезанный из журнала.

А рядом торчал портрет старшей Николашкиной дочери — Ольги. Он помнил эту фотографию — видел в Интернете. Нос кверху, шейка такая... фу-ты, ну-ты. Бусы.

А мазила уже понес — сухая, понимаешь, пастель, техника рисования... Она перебила:

— У Ольги были светлые волосы.

— Что?

— Эту девушку, — ткнула пальцем, — звали Ольга. И у нее были светлые волосы.

На портрете царевна была брюнеткой. А эта... сеструха, блин, повернулась и ушагала, не слушая про условность искусства. (А сам-то, между прочим, дух перевел. Ничего дядька художник, хоть и мазила. Жалко... Типа, хватит с меня и одного. Так следить — человек идет, чтоб его убили, а ты следишь, чтоб только материал отснять — тоже, блин...)

Каштановый затылок мелькнул в объективе. Он двинулся было следом — и тут ее хахаль, которого он все это время старательно силился воспринимать как со-

вершенно постороннего, до кого нет никакого дела, — типа, просто незнакомый парень, чернявый такой, плечистый, морда скуластая... типа, дурак, не помогут тебе твои кулаки, — вдруг решительно шагнул вперед. Рыцарь, блин, — типа, достал козел с видеокамерой.

— Все, — заявил хахаль. И закрыл объектив растопыренной пятерней.

Это тоже были удачные кадры.

На фоне серой мути туч мчались, кружили по невидимым рельсам разноцветные пятна вагонеток; ползли вверх и падали — ах, обрывалось сердце, — и ветер, должно быть, трепал волосы катающихся, кого не могла она рассмотреть, а только лишь слышала — визг, смех, голоса... Вверх-вниз. Горки.

Гулкие доски помоста скрипели под шагами.

— Давай я вперед, а ты сзади, — сказал Игорь, занося ногу.

Ему тотчас же возразила служащая — щупленькая барышня в точно таких же, что на самом Игоре, грубой ткани синих штанах с отстроченными швами; штаны эти на ней сидели, будто бы на барабане.

И Татьяна, послушно перелезши на нос вагонетки, поерзала, устраиваясь верхом на кожаном сиденье, а Игорь втиснулся сзади и взялся за руль — и вагонетка тронулась, заскользила, поползла вверх, а затем столь же отвесный склон открылся впереди и внизу — и вагонетка ухнула вниз, Татьяна вцепилась в борта, руки Игоря сжимали ее бока... Мысли неслись. Видели б ее сейчас... хотя бы кто-нибудь из ТОЙ, минувшей, жизни, — в летящем с лязгом железном ящике, да в объятиях чужого мужчины... она-то, всегда так стеснявшая-

ся незнакомцев, всегда в их обществе вынужденная подавлять смятение...

Ветер в лицо. Вагонетка падала, земля летела навстречу, едва различимые полоски рельсов, которым не выдержать удара, и тогда — трава и замусоренные каменные плиты... Она ясно представила, как предстоит ей выбраться, целою и невредимой, из груды смятого железа, из-под окровавленного Игорева тела — всей залитой его кровью...

Вот и будет тебе кровь.

Их тряхнуло так, что, казалось, выбросит — однако ж не выбросило; руки, бедные пальцы мои — они цеплялись за борта, как за последнюю надежду, им не дано знать, что — поздно, они уже мертвы — плоть и кости, и кровь не бьется в жилах, а из костей часть утеряна, а часть пошла в центрифугу на предмет получения анализа ДНК, и только чудом... Словно бы некий голос сказал внутри: это — твой последний шанс. Год жизни; год... Но ведь год — это так мало, сопротивлялась она. Разве я не собиралась жить долго?

Вагонетка вновь поднималась; снизу — или же показалось? — как будто бы махали руками...

Она знала, что год — это много; год жизни, двенадцать месяцев, триста шестьдесят пять дней... наступит осень, ветки рябин прогнутся под кровавыми гроздьями... а зима, снежинки на перчатках, холод в легких?.. Как Анастасия угодила снежком мне в самый нос, а в снежок был закатан камень... Ведь было же, было!.. Ах, жизнь, в чем прошла ты?

Чужие руки. «Он хороший! Я не могу!» — «Да-а... но разве ТОТ парень так же не показался тебе добрым?» Милый, простой; мятая гимнастерка, смешно оттопыренные уши... сколь странно казалось, что его называют на-

чальником охраны. Павел. Павел, Павел... Не помню. Предстояло ему умереть от тифа в госпитале на территории, занятой войсками адмирала Колчака; он ненадолго пережил нас, да... Мне казалось, будто бы у него доброе лицо; я верила, что уж он не сделает нам ничего плохого...

Вагонетка стояла, и земля внизу сделалась неподвижна; медленно разжавши пальцы, Татьяна слепо зашарила ногою по доскам. Руки ее ныли.

...И тогда, в подвале, это вовсе еще отроческое лицо было не злым, но только лишь сосредоточенным; он так старательно целился — надеясь, вероятно, с большею вероятностью попасть с одного выстрела... Она взялась за затылок; затем — за висок, где пальцы ее нашли вместо пулевого отверстия одно лишь тепло невредимой плоти.

Зачем столь неверно я судила о людях?

Игорь стоял перед ней, протягивая руку; послушно ухватясь, она выбралась на помост. Внизу, в смутной зелени травы, расплывались блики — должно быть, стеклянные осколки от побитых винных бутылок. Дощатые ступени прогибались под ногами.

И тень появится, думала она, смотря себе под ноги. Еще год жизни, триста шестьдесят пять суток, в каждых сутках по двадцать четыре часа, в каждом часу по шестьдесят минут и в каждой минуте по шестьдесят секунд... Секунда — единый вдох. Как странно не дышать.

Она стерпела руку Игоря на своем плече — чужую мужскую руку; коли уж у них так принято, а этот год мне предстоит прожить среди них... Трава. Я снова увижу тени в траве, искры в изломах осколков; вдохну всей грудью... Я хотела бы уехать... улететь, умчаться отсюда, где так тяжело душе от воспоминаний... ах, хотя бы в

Ливадию, да... или и Ливадия теперь зовется иначе?.. Она замерла и напряглась, вспоминая, — однако же безрезультатно. Эти ниоткуда всплывающие в памяти обрывки сведений слишком случайны. Мне дано знание о том, что такое анализ ДНК, мне известна судьба человека, что убил меня... но вопросов, на которые измученному мозгу не ответить, много больше.

Не охватить умом.

Игорь подхватил ее под локоть; она зажмурилась. Дорожки, посыпанные песком вперемешку с обломками ракушек, голубое море, словно бы слитое с голубым небом, в прибойных волнах — синеватые с фиолетовой оторочкой купола медуз... Как я мечтала бы согреться.

— Ты что дрожишь? — спросил он, сжимая ее плечи. — Замерзла?

Она кивнула, затылком ощущая его дыхание. Я замерзла, да... как же замерзла я, как устала; как малы мои силы... они уже иссякли — как физические, так и душевные... И я слепну — а ведь еще утром могла читать пояснения в музее... Мой единственный день близится к концу; мой единственный, неизъяснимым чудом данный шанс...

Кровь. Неужто еще мало пролито крови?.. Кровавые пузыри на Ольгиных губах, дикий визг Нюты... а как металась она, заслоняясь подушкой... И тесно стоящие в дверях фигуры, руки с револьверами, протянутые над плечами друг друга... как они все кашляли, щурились... И тусклая лампачка сквозь дым... Они тоже не хотели такого — так много крови и мучительной, грязной возни; мыслилось им, что все совершится быстро — на каждого по единственному выстрелу... Ведь в душе все они не были, не были злы; просто им, в их ослеплении,

казалось, будто так нужно... Разве же мне не нужно — и много более? Ведь они не защищали свою жизнь...

Да разве для этих, потомков поднявших руку на помазанника Божия, — я не послана во искупление?

...Но более одного года все равно не дается; для единственного человека дан этот год за все десятилетия, непрожитые одиннадцатью...

Лишь нужна еще одна смерть. Еще много, много крови. На могилу.

— Игорь, — глядя в землю, с трудом произнесла она. — Давай... (Это «давай» стоило ей еще отдельного усилия — не смотря ни на что, было мучительно обращаться на «ты» к чужому, едва знакомому человеку.) Я могу попросить тебя проводить меня в Петропавловскую крепость? Я хотела бы... — И умолкла, не зная, как продолжать. «Посмотреть?» Но ведь она уже сказала ему, что живет в Санкт-Петербурге; так неужто же не случилось ей видеть Петропавловской крепости?

Она так и не взглянула ему в лицо; и всю дорогу смотрела лишь под ноги. На песке, на плитах, на асфальте все же несомненно двигались тени — легкие, лишь едва различимые. От всего сущего под солнцем — кроме нее; даже камни и мусор более уместны в этом мире, чем она...

...Волоча ноги, всходила она вытертыми ступенями собора — опираясь на руку Игоря. Не гнуть спину... Кто же поведет на экскурсию женщину, которой дурно? Она отчаянно старалась держаться прямо — но вместо этого выходило, что лишь нелепо вытягивала шею. Почему женщины перестали носить корсеты?

Петропавловская крепость. Стены цвета красной охры под яркой голубизной неба; мощеная булыжником площадь... Вот мамА идет, взбивая ногами кружев-

ной подол, а рядом Лили, Лили Ден... Или это было не здесь?.. «Лили, как вы носите эту юбку?» И в лице Лили веселье оборачивается растерянностью: «Видите ли, мадам... это модно...» И мамА: «А ну-ка, докажите мне, что эта юбка удобна! Бегите, Лили, бегите!» Ах, эти юбки — столь узкие, что иные из дам связывали себе ноги, опасаясь шагнуть слишком широко и разорвать подол... В здешние же времена возможно сшить платье обтягивающее, как чулок, но бегать в нем будет легче и свободнее, чем в самом широком пеньюаре...

...Она все-таки ударилась скулой о стену — твердую, шершавую и неожиданно холодную, раскрашенную словно бы мраморными узорами — зеленоватыми и белыми разводами...

— Таня?

Игорь держал ее свободною рукой — в другой же руке еще оставались у него оторванные половинки билетов на вход. Билеты... как в балаган...

— Тебе плохо?

Она помотала головой.

— Споткнулась...

Она сделалась малословна — более не находя в себе сил для разговора; лишь оглядывала угловатые бронзовые кресты на сером мраморе надгробий, пучки выцвевших знамен на стенах, Царское Место — под балдахином с бахромой, без осыпавшейся позолоты серой, как паутина... Она всматривалась, щурясь: бархат помоста, вытертый ногами императоров всероссийских, которым позднее предстояло быть похороненными вокруг... И голоса, голоса... и чужие люди... Словно бы уж не осталось места, связанного с ее жизнью, ее семьею, ее родом, где ныне не водили бы любопытствующих.

Она шла.

Лица; голоса... Даже и юноша из синематографа, снимавший их в дороге, был здесь, — и, лишь только поймав ее взгляд, сразу отступил, затерялся в толпе... Почему Игорь был с ним так груб?

Про себя она начала считать шаги. Раз шаг... два... четыре... уж немножко осталось... Выщербленные плиты пола.

А Екатерининский придел, маленький и гулкий, почему-то был пуст. Вот и минул единственный день... и жизнь минула... Вновь.

Она даже вцепилась в рукав Игоря. Золотые буквы на стенах, на памятных досках, словно бы сами лезли в глаза: «Ее императорское высочество... благоверная великая княжна... Татиана...» Иконы же со стен глядели темно — и впервые она в страхе отводила глаза. Благоверные — те либо ТУТ, либо ТАМ, но никак не посередине...

Отгородивший надгробие малиновый шнур вдруг растаял; стены дрогнули и поплыли, оборачиваясь кругом — памятные доски, только кажущиеся мраморными, а на деле деревянные, оклеенные тонкой пленкой с совершенно мраморным узором; и само даже надгробие — общее, лишь один кусок мрамора на всех нашелся спустя восемьдесят лет после их смерти... вазы с искусственными цветами, мутные складки кисеи на окне, искры в хрустале люстры, расплывающиеся разноцветными звездами — словно бы в морозный день... И еще когда-то было смеющееся личико Анастасии, ее замахнувшаяся рука со снежком, и когда он вдруг ударил меня в лицо — это было так неожиданно и так больно, и показалось таким подлым... Что знала я о подлости — тогда?

И в ушах звенит, и уже не видится вена на шее стоящего рядом. Я не умею кусаться... никогда не умела. Анастасию бы сюда — это она у нас кусалась, царапалась, пиналась...

— Таня?

— Уйди, — выговорила она, зажавши ладонью вздрагивающее горло; прозвучало тихо и невнятно.

— Тань, ты чего?

— Уйдите! — крикнула она сдавленно, с облегчением переходя на «вы».

Юноша Игорь смотрел на нее, словно на безумную, — и вышел, пятясь; ей же увиделось, будто бы он пятится вверх по вставшему дыбом полу — куб помещения вращался все быстрее, стены, потолок, вазы с искуственными белыми каллами и кадки с настоящими фикусами, а потом выложенный коричневой плиткой пол оказался вверху, и откуда-то возник все тот же журналист.

Объектив камеры надвинулся — снимает!.. зачем? и откуда он здесь взялся? Он снимает... мне же плохо!.. он должен бы бежать за помощью... Лицо парня оказалось совсем близко — азартное, с горящими глазами, — и что-то сдвинулось в ее сознании. И вместо этого лица явилось другое — напряженное, сощуренные глаза вглядываются сквозь дым... люстра обернулась тусклой лампочкой, потолок опал, тяжестью низких сводов задавив дневной свет... она снова очутилась посреди ТОЙ комнаты, вместо объектива же было дуло нацеленного револьвера... и она с воплем метнулась — к стене, к запертой двери куда-то... витой малиновый шнур оказался вдруг перед самыми ее глазами, она уцепилась за него, пытаясь удержаться на но-

гах... ну хотя бы на коленях... С грохотом повалились тяжелые бронзовые столбики. Белые каллы лежали в луже растекающейся воды.

— Дать бы вам по мозгам этой камерой, — на ходу мечтательно рассуждал мент. — И пленку вырвать...

Туристы испуганно расступались, давая дорогу.

— У нас разрешение, — в очередной раз повторил Игорь, стараясь сохранять достоинство — и дернул рукой, пытаясь освободить рукав из ментовских пальцев.

— Да пустите же нас, — подал голос Генка. — Мы же не... (здесь он был встряхнут так, что едва устоял на ногах) не с-сопротивляемся... (это — уклоняясь от очередного толчка богатырского плеча) Да что вы делаете!.. Сами пойдем...

— Сами вы уже сходили. — Широченный, прямо-таки квадратный — разъевшийся, видать, за время ленивого сидения на входе и трепотни с билетершами, — мент был здоровее их обоих. — И ты иди, — добавил он, зажатой Генкиной рукой подталкивая Таню в спину. — Другой бы не посмотрел, что девушка...

А на крыльце, сунув камеру в руки помятому Генке, он очень демонстративно поправил дубинку на поясе и договорил:

— А еще раз сюда сунетесь — и не посмотрю. (И — Тане.) А то... совсем уже...

— Мне стало плохо, — очень спокойно сказала Таня — в упор глядя ему в глаза. — Вдруг. Я ничего не разбила... не сломала... Хотите, помогу пол вытереть?

— Я тебе помогу... — ласково закивал мент.

На пороге он оглянулся — через плечо смерил всех троих последним тяжелым взглядом и шагнул в полумрак притвора.

Они остались стоять на крыльце.

— Н-да, — потирая локоть, сказал Генка после молчания. — Танек, с тебя бутылка.

— Гад, — сказала Таня, глядя вслед менту — и потирая спину. — Обернувшись, старательно улыбнулась — обоим по очереди. — Ребята, извините, что так вышло... Спасибо вам.

— Да не за что, — отозвался Генка, ухмыляясь в ответ. — Мировая киноиндустрия оценит наш подвиг.

— Да уж... Пленки хватило, оператор?

Генка гордо похлопал по сумке от видеокамеры, где, видимо, лежали отснятые кассеты. Она кивнула, задумчиво почесывая щеку, и повторила:

— Спасибо, ребята.

— Пожалуйста, — на этот раз ответил Игорь — небрежно. Было все-таки сложно так сразу переключиться с роли едва знакомого поклонника на роль давнего — и без ничего такого — приятеля. — Танек, пудру смажешь.

— Это не пудра, — объяснила она наставительно, — а тональный крем. Пополам с тенями. Синими, желтыми и серыми. Целая живопись. — Но руку опустила, капризно добавив: — Блин, я боялась, от меня на улицах шарахаться будут. А никто даже внимания не обратил. Народ у нас все-таки... пуленепробиваемый...

— Ничего, — заявил оператор Генка, укладывая камеру в сумку. — Вообще, вот возьмет наша кинулька первый приз, тебя к нам на Ленфильм с руками оторвут. Типа будешь кинозвездой, будет народ на тебя шарахаться.

Болван, воззвал Игорь мысленно. Таня не ответила, только дернула носом, но сразу посерьезнела. Дурак, думал Игорь. Шуточки тебе... Она же все понимает. Шансы любительской короткометражки, даже с профес-

сиональной съемкой, даже если смонтировать вы сумеете, а как режиссер и сценарист Танька проявила себя с самой лучшей стороны... все равно — шансы взять первый приз на кинофестивале, пусть и в демократичной номинации любительских фильмов... да, шанс наш никак не больше, чем шанс никому не известной девушки без специального образования на роль в кино...

Он не сразу осознал, что молчит, глядя на нее. Будто ждет чего-то. Распоряжений. И что так же смотрит на нее Генка. Вот так и становится ясно, кто в коллективе лидер.

А ведь раньше этого не было. Мы всегда гордились тем, что у нас не компания, а многоглавый дракон. И на тебе... Повзрослели наконец окончательно, что ли. Завершился период становления личности...

— А ты молодец, Танек, — серьезно сказал Генка, щелкая замками сумки. Со своим синевато отсвечивающим свежевыбритым черепом, в майке с англоязычным нецензурным ругательством, на крыльце царской усыпальницы — хоть и ободранном, и в строительных лесах, — он смотрелся явно не на месте. — Я почти поверил. Даже, типа, вообще сам играть начал... (И я, думал Игорь. И я.) Будто все по правде, а я типа вас снимаю, чтоб пленку куда-нибудь продать. (В широченной улыбке продемонстровал черный излом на месте дальнего зуба.) Но ты... (Восхищенно закатив глаза, развел руками.) Ты — талант. Если, блин, та Татьяна по правде была на тебя похожа... жалко мне ее тогда.

А может быть — не так уж и похожа, подумал Игорь. Слишком некачественны фотографии и архивные кинозаписи — они не сохранили ни цвета волос, ни цвета глаз; слишком несовершенна методика восстановления лица по черепу... тем более — по изуродованному черепу...

— Та Татьяна была пробка, — спокойно ответила Таня. — Как и они все. (Перевела взгляд с Генки на Игоря — секунду смотрела, затем отвернулась и принялась деловито отряхивать штаны.) Самозванцам вообще положено быть умнее тех, за кого они себя выдают. Они пытаются реализовать возможности, которые проворонили оригиналы.

Помолчали.

— Тань, что у тебя с глазами? — спросил Игорь.

Она секунду смотрела на него, сдвинув брови, — поняв, засмеялась.

— Это атропин. Это случайно так совпало. Я вчера у окулиста была. — Должно быть, его лицо не выразило понимания, и она назидательно пояснила: — Атропин — это препарат, который капают, когда хотят посмотреть глазное дно. Он расширяет зрачки. Но зрение на этот период ухудшается. Он чего-то там расслабляет в глазу, что ли... — Она подмигнула. — А эффект хороший, да?

— Тань, — с ухмылкой позвал Генка. — А вот если б типа по правде... Ты б ему перекусила глотку?

И она улыбнулась в ответ.

— Ему — нет. И тебе — нет. Вы же мои лучшие друзья. — Потянулась и обняла их обоих за плечи. И, глядя Игорю в глаза, медленно, демонстративно облизнулась. — Я бы нашла кого-нибудь другого.

— Это же монстр, — тихо сказала Татьяна.

Из тени соборного крыльца на площадь спускались трое — смеющаяся девушка тащила за руки двоих парней. Тот из двоих, что был пониже и пощуплее, с сумкой через плечо, что-то говорил, жестикулируя свободной рукой. Захохотали все трое.

— Ну что ты так сразу... — возразила Ольга, вглядываясь в чужое, разрумянившееся даже под слоем косметики лицо, счастливое лицо. Покосилась — сравнивая — на сестру и вздохнула. — Она ведь старалась. Она даже думать старалась как ты. И у нее даже иногда получалось...

— А то, что они придумали... — перебила Татьяна и замолчала, не сводя глаз со своей смеющейся тезки. Лицо ее дрогнуло, сделалось тоскливым и страстным. — Год жизни... — договорила она сдавленно — так тихо, что лишь умоляюще сморщившаяся Ольга и разобрала.

— Танюша...

— А ужас интересно, — встряла, хихикнув, не расслышавшая Анастасия. — Выйдет из нее артистка?

— Нет, конечно, — отозвалась Мария. — Много ты понимаешь, шибздик.

...А та, другая Таня, Таня Пока Еще Мечтающая Стать Актрисой, жмурясь, смотрела сквозь них — на проглянувшее в облаках солнце.

31 августа — сентябрь,
октябрь 2000 г., февраль 2003 г.

ВОЗМОЖНЫ ВАРИАНТЫ



Сказка пьяного геймера

Посвящается Эми Ольвен и персонажам компьютерной игры «Final Fantasy VII»

С чего все началось...

«...новое поколение компьютерных игр. Однажды (в игре этот момент замаскирован под визит главного героя в Храм Оракула) вы сможете даже вступить с персонажами в прямой диалог и отдавать голосовые команды (разумеется, если в вашем компьютере имеется встроенный микрофон).

...К достоинствам обсуждаемой игры относится так же ее вариативность. В зависимости от действий главного героя (т. е. ваших) варьируется поведение всех остальных персонажей и, соответственно, сюжет — разумеется, в весьма ограниченных пределах...»

Из рекламной статьи

Первая попытка

(Рядом с клавиатурой стояла мятая голубая банка. Грейпфрутовый джин; на экране монитора разворачивалась трехмерная картинка. Хрустальные колонны храма. У входа в храм маячила человеческая фигурка. За

спиной — меч в ножнах, рукоятка торчит над правым плечом. Желтые волосы точком, как у панка. Геймер вздохнул и нажал на кнопку со стрелкой. Фигурка пошла.)

...Колонны упирались в небо. Вместо неба был мозаичный глаз на потолке — продолговатый, с черным провалом зрачка. В храме не было стен — солнце преломлялось в хрустале колонн, и по плитам пола тянулись длинные блики, разбитые на цвета спектра.

— Это я, — задрав голову, весело сказал пришелец в черный зрачок.

(...Весь экран заняло закинутое лицо. Молодое. Желтые волосы, синие глаза, царапина на скуле... Персонаж компьютерной «стрелялки» — великолепная трехмерная графика, возможность голосовых команд... Геймер вздохнул снова. Разгладил на столе инструкцию с текстом роли и нагнулся к микрофону.)

— ...Ты, — сказал Голос.

Ниоткуда и отовсюду. И негромкий вроде бы голос — но, наверно, от него должна была бы стыть в жилах кровь.

— Я, — повторил тот, что стоял, улыбаясь, — руки в карманы. — Привет, Оракул.

Вздох грянул. Наверно, он должен был бы отдаться гулким эхом — но в храме не было стен. Только колонны.

— Ты, — повторил Голос. — Ты пришел, чтобы узнать свою судьбу. Ты прошел... э-э-э...

Тот, что стоял внизу, ухмылялся. Ему вдруг показалось, что Оракулу все надоело. Что он повторяет сказанное в сотый раз; что вся слава этого места —

дурацкие сплетни, и зря он поверил-таки и приперся, зря, зря...

— ...Ты прошел через пустыню. Ты пересек океан. Тебе предстоит пройти через Синие горы и Ржавые болота... — Голос закашлялся. По ногам тянуло сквозняком. — Болота непроходимы, а Синие горы населены чудовищами. Но ты пройдешь.

Тот, что слушал, усмехался, даже не пытаясь изобразить почтение. Конечно, пройду. Тоже мне, удивил. А через что я прошел, я и без тебя знаю...

— У тебя есть девушка. Вот она...

...Карие глаза. Темные волосы. Короткая юбка и грубые ботинки. И сбившиеся гармошкой носки. Вот она идет — рядом...

— Она будет ждать тебя в твоем родном городе, но твой враг сожжет твой родной город...

Слова упали, как камни в воду — без возврата. Оракул не ошибается — в этом сходились все, во всех кабаках на перекрестках всех дорог. Оракул знает будущее; Оракул видит будущее; Оракул может менять будущее. Иногда — очень редко — Оракул исполняет желания...

ОРАКУЛ НЕ ОШИБАЕТСЯ. Значит...

— Что?.. — растерянно спросил тот, кто все еще улыбался.

— Твой враг сожжет твой родной город. Но твоя девушка уцелеет...

Радость. Мгновенная. Облегчение. И сразу — осознание.

— Погоди, — перебил посетитель. Мотнул головой, осмысливая; снова вскинул расширившиеся глаза. — Как... сожжет? Совсем? А люди?

— Почти совсем, — подтвердил Голос — и в нем почудилась усмешка. — Твой враг сожжет твой родной город. У тебя что, со слухом плохо?

Человек молчал. Дул ветер; под ногами лежал блик — цветной и полосатый, как радуга. Фиолетовый... синий... зеленый... огненный... Улицы. Дома. Деревья. Люди...

— Зачем?

— Он твой враг.

И снова было молчание. И был ветер, и вздрагивали блики...

(...цветными «зайчиками» на экране монитора. Геймер сморщился и почесал нос.)

— Персонаж он отрицательный! Ему так положено.

...Блики.

— Ты же всемогущ, — сказал человек в черноту зрачка. Его губы вело — и, должно быть, страшненькая выходила улыбка. — Якобы. Ты... Сделай что-нибудь.

«А иначе за фига ты тут сидишь?!»

Голос хмыкнул — секунду мир состоял из звука: х-х-х...

— Я могу. Я могу изменить прошлое — и тогда изменится будущее. Но ты все равно придешь сюда — и, вступив на порог, ты вспомнишь...

— Ну?!

И снова был вздох.

— Но и ТВОЕ прошлое изменится. И изменишься ты сам. Я выполню твое желание — а оно, возможно, перестанет являться таковым...

— Да ты охренел, — заявил наглый посетитель, — всемогущий. Город? С людьми? Черт с ним, что мой, я там не живу... город?! И чтобы я передумал?!

(...»CTRL — ALT — DELETE» — два раза подряд.)

Вторая попытка

Он вошел в храм. Снаружи было пасмурно и ветрено; в храме было сумрачно. Прозрачные колонны, цветная мозаика на потолке — желтый глаз с черным зрачком...

— ...Ты, — сказал Голос. — Ты прошел через Синие горы и Ржавые болота...

Тот, что стоял перед ним, вдруг уселся на пол — пачкая штаны грязными ботинками, поджал ноги по-турецки. Ухмыльнулся.

— Я устал чего-то, слышь... всемогущий.

...Ветер.

— А ты наглый, — помедлив, констатировал Голос. — Ладно. В твоем городе, который ты спас, тебя ждет девушка...

Человек отвернулся.

Вот оно.

...Горели фонари. Вверху, заслоняя ночь, пересекались дуги автострад; шел мелкий снег, и подсвеченное городское небо казалось шероховатым, как грифель. Мы шли рядом — и она взяла меня под руку; я шагал, обмирая... Выпрямиться. Развернуть плечи, стать высоким и сильным...

Давно дело было.

Смех на палке. И ведь таки стал.

И вот.

— ...Глянь, какая девушка! Какие ноги! Какой бюст... как она только, бедная, землю под ногами видит, когда ходит, — я никак не пойму...

— Заткнись, — оборвал тот, что сидел на полу.

И воцарилось молчание.

— Так, — сказал Голос. — Что тебе опять не слава Богу?

Человек смотрел себе на ноги. Грязные коричневые ботинки, толстые рубчатые подошвы... Пыль всех сторон света.

— Пусть лучше не ждет.

— Так, — повторил Голос — и снова вздохнул, и качнулись тени. — Передумал, значит. Ладно... А я тебя предупреждал. Ну, ладно. — И тут же снова оживился: — Но смотри, тебя будет любить еще одна девушка... Смотри!

...Запах хризантем. Волосы — рыжевато-каштановые, солнечные; вот она расплетает косу, встряхивает головой — волосы льются, блестящие, волнистые... Руки. Теплые сухие ладошки, мягкие и нежные; ночник на столе, сбитая простыня, свисающая до полу...

— Но твой враг убьет ее.

...Дул ветер. Отсюда, со скал, хорошо просматривались ступенями спускающиеся в долину террасы. Когда-то на террасах росли сады — и считались чудом света; сады давно одичали, и высохли, и истлели. Прошли тысячи лет. И только песок...

Он УВИДЕЛ.

...Падает черная тень — размазываясь в прыжке; черный плащ, белые волосы, длинное изогнутое лезвие... У него меч длиннее его роста. И нога в высоком черном сапоге наступает на ее косу...

...Человек сидел на ступенях храма. Ветер вскручивал пылевые смерчики; за спиной молчал Оракул. Ждал.

А потом произошло еще что-то — и он услышал. Ее дыхание. Громкое — с хрипами. Учащенное. И кровавые пузыри вздуваются и лопаются на губах...

— Я согласен, — сказал он, не оборачиваясь. — Давай еще раз.

Третья попытка

Небо было свинцовым. Небо нависло; предгрозовые сумерки, в которых почему-то особенно ярко светлеет металл. Храмовая крыша на фоне иссиня-черной тучи. Плиты храмового пола.

Человек смотрел под ноги. Охотнее всего он бы лег и умер. Прямо тут.

— Ну, — сказал Голос. — Третий раз. Ты прошел через пустыню, ты пересек океан. Ты перебрался через Синие горы и Ржавые болота. Ты спас целый город, предупредив пожар. Ты... э-э-э... ты спас влюбленную в тебя прекрасную девушку, которую хотел убить твой враг. У тебя впереди решающий поединок, в котором ты победишь. Вот он, твой враг, смотри!

Человек смотрел под ноги. Изъязвленные временем каменные плиты; сколько они видали таких, как я?

...Тень шагнула из тьмы, таща за собой длинный блик клинка. Металлические наплечники поверх лаково-черного кожаного плаща. Голая грудь под черными — крест-накрест — ремнями. Волосы. Длинные. Прямые. Челка. И цвет волос — они не просто очень светлые, вру я все, они — почти серебряные... серебристые. Почти металлический блеск...

Голос:

— Он — твой самый сильный противник. Он всегда был сильнее тебя. Но теперь твое мастерство возросло, и ты... это...

— Не учи меня, — оборвал человек, поднимая голову. — Я с ним дрался, между прочим.

...Тогда. На городской площади, кашляя в дыму; и был летучий огненный блик на длиннющем лезвии. У моего горла.

Плиты под ногами. Был взгляд. Цвет глаз — не то голубой, не то зеленый. Была усмешка. Осталось — заживающий порез на шее, под ладонью... Он все равно дерется так, как я драться никогда не буду. Но ведь не убил. Почему?

— Почему он меня не убил?

Молчание. Человек сглотнул.

...Рука в черной кожаной перчатке — на рукояти меча. Распахнутый ворот плаща, огненные отсветы на потной безволосой коже. Я увидел его впервые. Он красив, как...

Враг мой. По-че-му?!

...Встать на колени. И ползать. Чего ж я все хамлю-то, ведь от Оракула зависит...

Потому что если я не уговорю... не уломаю, не умолю... Оракул все может — равнодушная сволочь по ту сторону мира...

ТРЕТИЙ РАЗ.

...Щербинки на плитах.

— Он — твой враг. Ты убьешь его, и это будет значить, что ты выиграл...

Человек мотнул головой. Он ВИДЕЛ будущее — снова.

...Враг ждал — с мечом в руке. Почему-то голый по пояс. Черные кожаные штаны, черные сапоги... И неведомо откуда тянущий сквозняк шевелил волосы. Враг смотрел в глаза. Даже вроде чуть улыбался — уголками рта.

Жить ему оставалось меньше десяти минут.

— Пожалуйста, — сказал человек хрипло.

— Я тебя предупреждал, — ответил Голос.

...Предупреждал. «Твоя биография изменится, и ты изменишься... Я выполню твое желание, а оно перестанет являться таковым...» Ты хотел же жить с этой девушкой долго и счастливо? А перед этим, твою мать, ты хотел того же, но — с другой...

Это ж такая глюковина — любовь. Потому что она — не данность. Она — как получится...

С кем получится.

— ...Ты садист.

— Я тебя предупреждал... Смотри!

...Он ощутил себя в движении. Разворачивающимся; косо падает занесенное лезвие... блики в чужих зрачках... Он знал, что сильнее. Он и БЫЛ сильнее — в эти секунды.

Секунды.

...Блики. Дрогнули чужие ресницы. И лезвие падает, падает, падает...

Стоп-кадр, размазанный во времени.

— Почему он меня не убил?!

А Голос спросил с насмешкой:

— Сказать тебе, почему он так хотел убить эту девушку?

...Плиты.

Он стоял на коленях — впервые в жизни. И, наверно, нужно было кричать. Умолять. Биться головой о пол...

— Пожалуйста, — повторил он. Не то улыбаясь, не то скалясь — и лицо его выглядело каким угодно, только не умоляющим. — Я не хочу убивать этого человека. — И сморщился. И сглотнул; и еще помолчал, глядя. Черная дыра зрачка. Цветные стекляшки мозаики, темные желобки между ними... Глоток — с усилием. Вспышка молнии насквозь просветила колонны. — Я... он мне нравится.

И тут Голос впервые засмеялся.

Заржал.

...Гром. Да такой, что показалось — покачнулись хрустальные колонны. Но это всего лишь молнии, причудливая игра света...

— Да ты сбрендил, парень, — сказал Голос, переждав очередной удар. — Сначала тебе одну женщину, потом другую... теперь что, вообще мужчину?

— Пожалуйста, — повторил тот, кто еще надеялся.

А что ему еще оставалось?!

Снаружи хлынул ливень; ветер заносил струи в просветы между колоннами. Долетали брызги.

— Я не могу, — ответил Голос — после паузы, неожиданно спокойно. — У игры есть сюжет. С кем же ты тогда будешь драться?

Человек глядел, запрокинув голову. В сумраке мозаичный зрачок и вправду казался провалом. Все-таки он ждал чего угодно... но этого... Но не этого.

— Так ты... только чтобы... ради ЭТОГО?! Ради игры?!

— Я игрок, — ответил Голос. — И ты игрок. Жизнь — игра...

...Шум дождя.

Человек поднялся. И демонстративно отряхнул колени — хотя храмовые плиты были, наверно, чище его пыльных штанов.

...Хоть унижайся до бесконечности. Он не поможет. ОН НЕ ПОМОЖЕТ.

А если так — зачем все?

— Будь ты проклят, — сказал он, глядя вверх. И если бы из зрачка пала молния и испепелила его на месте — он не удивился бы. — Будь. Ты. Проклят.

— Ну зачем уж так-то, — сказал Голос. Хмыкнул — снисходительно; по храму прошелся ветер. — Меру, знаешь, тоже надо соблюдать... Давай — третье желание. Последнее. Мне интересно, что еще может получиться. — И — помедлив: — Ну?

Человек молчал. Будь он проклят; он же мной играет, как... как... И желание было одно. Бешеное. Дотянуться и взять за горло.

И все-таки он сказал. Ухмыляясь — потому что все стало так плохо, что осталось только смеяться.

— Тебя бы в мою шкуру. — И, уже шагнув к выходу из храма — навстречу ливню, — обернулся. — Сидишь, сытая сволочь... Я бы тоже так посидел.

(...И что-то замкнуло в мире.)

...и чем все кончилось

— Ты игрок, — сказала девушка геймера, вздрагивая распухшими губами, — и промакивая мятым платочком серые от туши слезы. — Ты хоть там-то...

— Ну что ты, — отвечал отловленный-таки военкоматом и забритый в армию геймер из дверей вагона. — Я вернусь... О'кей? Я обязательно...

...Лязгнули двери.

Мятая банка из-под джина стояла стояла рядом с клавиатурой; на третий день он не выдержал — взял банку двумя пальцами и отнес на лестничную площадку, в мусоропровод.

Обыскать шкафы и ящики в квартире он решился уже вечером первого дня. В квартире обнаружились деньги — немного, как оказалось, но все же; из ценных вещей были только телевизор и компьютер, в котором сгорело все, что могло гореть — содержимое процессора стало единым слитком металла и пластмассы.

На второй день он сходил-таки в магазин — вот еды в доме не было, если не считать хлеба и консервов. Снимая ключ с гвоздика в стене у входной двери, обернулся. Входная дверь ему не нравилась — хилая, плечом выбить... А впрочем, какая дверь удержит ТОГО, если он захочет уйти?

— Ты, пожалуйста, никуда не девайся, — сказал он уже из дверного проема. — Я же тебя не держу. (Старался держать лицо каменным — хотя враг из комнаты не мог видеть.) Просто мне хотелось бы попрощаться.

Из комнаты не ответили.

...Той же ночью небо взорвалось салютом — на нее пришелся какой-то крупный местный праздник. Во дворе, среди освещаемых вспышками сугробов, водили хоровод вокруг дерева, опутанного проводами в цветных лампочках.

...Шел четвертый день. Парень с желтыми взъерошенными волосами сидел в комнате на подоконнике — с ногами, обняв колени. Смотрел в окно. Ему не нравился этот город, состоящий словно бы из одних грязных катакомб дворов и подворотен; серое небо, снег и слякоть, и неожиданно глубокие лужи, в которые срываются ноги... Он включал телевизор, только чтобы убедиться, что в этом мире есть места поприличнее.

— Если ты хочешь, я уйду, — сказал он. — Я разберусь, где жить.

Сзади молчали. На железный карниз шлепались снежинки — крупные, мокрые и тяжелые, как плевки.

...Его воспоминания об этом мире начинались с коридора — тесного и темного, в котором он вдруг оказался — шатающийся, задевающий мечом углы и косяки, — и изрубленное тело на его руках заливало кровью деревянный пол.

На выключатель он наткнулся. Затылком; белая круглая клавиша, желтый электрический свет... И в этом свете он смотрел, как затягиваются вражеские раны — закрываются на глазах... срастаются... и шрамы, сперва темные и пухлые, истончаются, сглаживаются, светлеют... И исчезают совсем.

В дверь комнаты он пролез боком — стараясь не задеть косяки ни чужой головой, ни чужими коленями; задел-таки носками сапог. Серебристые волосы едва не мели пол.

Вместо кровати на полу лежал матрас; одеяло в изжелта-сером от грязи пододеяльнике он ногой сбросил на пол. И пнул подушку — в того же цвета и той же степени свежести наволочке. И, поддев носком ботин-

ка, содрал простыню. Уложил врага прямо на матрас; черная кожа, ремни и пряжки... осунувшееся, обескровленное, бледное до синевы лицо.

Он сидел рядом. На краю матраса; прижав пальцы к чужой шее под ухом, щупал пульс. Пульс был.

...Враг так и провалялся эти четыре дня — поднимаясь только по крайней необходимости. Он едва держался на ногах. То ли кровопотеря, то ли шок; ладно, хоть чистое белье в этом свинушнике нашлось. Похоже, эта сволочь жила за своим электронным ящиком и спала за ним же...

И ползли по циферблату стрелки, сохли на тарелке нетронутые бутерброды; победитель выкручивал половую тряпку — журча, лилась в белый пластмассовый тазик бурая от крови вода. На полу в коридоре все равно остались пятна — кровь впиталась в паркет.

Враг лежал лицом к стене, игнорируя все попытки начать разговор. За эти дни он сказал едва несколько слов.

И победитель боялся подойти; высшие силы ниспослали ему раскладушку, висевшую почему-то на стене в туалете — над унитазом. И, лежа в темноте без сна — под собственной курткой, — он слушал, как враг во сне ворочается, изредка бормоча невнятное, и, будто всхлипывая, сквозь зубы тянет воздух, — и все закутывается, все натягивает и натягивает одеяло...

Он укрыл врага курткой — поверх одеяла. Тому это не помогло, а спать в одной безрукавке было холодно.

...Он смотрел в окно. Снег падал; ему казалось, что от его последних слов в комнате висит эхо.

Если ты хочешь, я уйду. Сгину сию секунду; если ты хочешь...

— Лучше не уходи, — тихо сказали с матраса.

Он медленно обернулся.

— Как хочешь...

Как ТЫ хочешь; да я... Потому что если тебе не надо, чтобы я сгинул сию секунду и на веки вечные — значит, не все так плохо на этом свете...

...Горела сувенирная свечка — кажется, единственная красивая вещь в этой квартире. В стеклянной, совершенно настоящей на вид пивной кружке горящий фитиль торчал из желтого и прозрачного, с пузырьками и шапкой пены. Победитель сидел на краю постели, и голова побежденного лежала у него на коленях. Сплетенные пальцы; чужая кисть в его ладони казалась хрупкой — длинная и узкая, вены, выступающие косточки запястья...

— Смешной ты, — сказал враг — спокойно. И — помолчав: — Поцелуй меня, а?

И была пауза. Он нагнулся — решившись. Чужие губы были сухими. И едва шевельнулись в ответ.

— И что ты здесь собираешься делать? — безнадежно спросил враг, когда они оторвались друг от друга.

— Не знаю, — ответил он, глянув в сумрачное окно. — Наверно, жить.

Памятник был — серого мрамора. И еще не успела выцвести фотография под вмурованным в мрамор прозрачным пластмассовым овальчиком.

— А я замуж выхожу, — грустно сказала бывшая девушка геймера. — Ты не обидишься, Игрок?

Она сидела на мокрой лавочке — на подстеленном полиэтиленовом пакете. Поднялась — подошла, увязая каблуками; остановилась над могилой.

...А день был — седьмое марта. Снег падал в грязь, и в городе уже охапками продавали мимозу.

Она стояла, опустив голову.

По кладбищенской дорожке шли — трещал ледок под ногами; шаги приблизились и смолкли. Помедлив, она обернулась.

За оградкой стояли двое парней. Один встрепанный — прямо панк; и второй, повыше — что-то совсем экзотическое, длинные светлые, с голубизной даже волосы — будто седые... но не седые же?..

Стояли. Смотрели.

8—14 марта, 21 июня 2002 г.

ВРЕМЕНА МЕНЯЮТСЯ

Погода была ужасная,
Принцесса была прекрасная...
...А может быть, все было наоборот?..

Из мультфильма
«Принцесса и людоед»

1. Теория...

У нее не было имени — был набор шипящих звуков, который он не мог воспроизвести даже мысленно. У нее не было волос — лысый, неожиданно изящной формы череп с маленькими, совсем человеческими ушами. И бюста у нее не было тоже — совсем, с его точки зрения, напрасно был этот вырез до пояса, нечего там было открывать и нечего обтягивать, вся она была тощенькая, как подросток, — прикрытые серебряной сеткой платья, подпрыгивали на его руке худые коленки... Он бежал, и в такт шагам моталась ее запрокинутая голова. На шее, над ямочкой между ключицами, совсем по-человечески проступили сухожилия. Серебряная сеть

обтянула плечи, одна рука локтем упиралась ему в грудь, а другая болталась — и подол платья волочился, звякая и цепляясь. Полированные раковины и скрепляющие их колечки — сотни колец серебристого, светящегося в темноте металла. Крупные самоцветы по краю подола были антигравитаторами. Это из-за них такой легкой была ее походка — и серебряная паутина шлейфа тянулась следом, плыла, невесомая, как пена... Но их сила, направленная вверх по сетке, не могла ему помочь, — а без них проклятое платье весило, наверно, больше самой хозяйки.

Он бежал. Звякали по полу раковины из океанов чужой планеты, плафоны аварийного освещения гасли за спиной и зажигались впереди — светящиеся кристаллы, голубые бриллианты... В голубых отсветах — запрокинутое треугольное личико. Маленький подбородок, плоский носик... прямо сказать, приплюснутый — и изящные прорези ноздрей смотрят вперед; и светлые, едва намеченные брови, зато ресницы — черные, сантиметра в два. Глаза, смотрящие снизу вверх, — огромные, раскосые, апельсиновые с голубыми прожилками... В глазах жили зрачки — бились, то сжимаясь в точки, то разливаясь во всю радужку — так, что в щетках ресниц оставались сплошь черные, влажно отблескивающие выпуклости. Как у статуи. У ее глаз не было белков.

...Он бежал. Легко и размеренно, как в спортзале, — высокий, поджарый, мускулистый, и щуплая ноша казалась невесомой в его руках. Пружинила под ногами кажущаяся стеклянной поверхность. В льдисто-зеленоватой, как стекло на изломе, толще пола свет странно

преломлялся — и странно дробился на волокнистой структуре стен; там, в глубине, чудились то вмерзшие пузырьки воздуха, то пересечения зеркальных плоскостей... Он бежал, перепрыгивая через комингсы, слыша только свое загнанное дыхание... в этих, словно прорубленых в глыбе льда коридорах странно не было эха, не было даже топота — звуки проваливались, как в вату. Он бежал, и пульс в висках отсчитывал секунды, и толчки собственной крови казались ему тиканьем часового механизма.

...Там, в рубке — в том, что он счел рубкой, в прозрачном октаэдре, где за стенами — звездная пустота открытого космоса, но каждая из граней способна превращаться в экран... где не было ничего, кроме узора голубых лучей под потолком — и в этом узоре висели, как в паутине, цветные кристаллы... Кажется, вся эта штука и играла роль пульта управления — потому что именно там, под сияющей ровным голубым светом паутиной с редкими вкраплениями самоцветов, она подняла руку и наспев произнесла непонятную фразу, — и паутина погасла, а самоцветы рассыпались пестрыми осколками. Осколки еще падали, когда, опоздав на секунды, в рубку ворвались те, кто гнался за ними. И вбежавший первым, в совсем поземному лаково-черном мундире, выстрелил из чего-то, надетого на руку, как металлическая перчатка. Звука не было, был только свет — желтая вспышка. Свет окутал ее, будто коконом. Сияющий нимб. Мгновение. А потом она упала.

Он помнил, как на стрелявшего смотрели все остальные. Наверно, стрелять все-таки было нельзя. Он

так и не разобрался в их субординации, так и не понял, кем она была среди них, — но все-таки стрелять было нельзя, наверно...

Он просто воспользовался моментом. Он подхватил ее на руки и побежал — благо выходов в октаэдре было столько же, сколько сторон.

...И теперь он не мог поверить, что его больше не преследуют. У них не осталось выбора, они не успеют восстановить пульт, звездолет неуправляем и механизм самоуничтожения запущен... Но она обещала, что его не будут преследовать. Что коридоры, ведущие к ангару с десантными дисками, пропустят его одного. А она знала, что говорит. У нее было это право — приказывать кораблю. И даже право на разрушение пульта, каковое разрушение и запустило — автоматически, — обратный отсчет... Для последнего уцелевшего на ее планете звездолета, последней надежды умирающей цивилизации. Возможно — и для самой цивилизации, отправившей последний звездолет спешно завоевывать подходящую для массового переселения планету. Маленькую голубую планету, третью по счету у некрупной желтой звезды.

...Ради него. Ради чужого, единственного выжившего на потерпевшем аварию земном корабле, взятого на роль «языка» — только... Ради первого человека, которого она увидела.

Она лежала спиной на его руке — под серебряной сеткой кожа цвета молочного шоколада. В синеватом призрачном свете почему-то особенно ярко фосфересцировала вытатуированная на его крутом бицепсе эмблема КСЗ, Космической Службы Земли. Там, на Земле,

он был капитаном звездолета, кавалером двух орденов «За доблесть», врученных лично председателем Высшего Совета. Он был силен и красив, и поклонницы укладывались штабелями; а еще он был умен, и никто не превосходил его в быстроте реакции...

...В ангар он скатился кувырком — не устоял, когда прямо под ногами вдруг провалился пол. И, падая, только старался плечами и локтями защитить ее — как и подобает настоящему мужчине, каким он, несомненно, являлся.

Он ободрал локоть, разбил губу и прикусил язык. И порвал штанину у щиколотки — так и не поняв, за что зацепился. Он стоял на коленях, а впереди, за стеклянной стеной, выстроились десантные диски — в ряд, как тарелки в сушилке. Запрограммированные, готовые к старту, — но она обещала, что активирован будет только один. Ближайший ко входу — потому что для одного человека двухместного диска вполне достаточно, а из них, замахнувшихся на жизнь чужой цивилизации, никто не заслуживает спасения.

...И снова он бежал — он совсем не устал, он неутомим, ведь герои не устают... Хотя и наступил-таки на волочащийся подол и раздавил одну из раковин — розовато-жемчужную с зеленым краем; он бежал, ругаясь вслух — как и положено настоящему мужчине в такой ситуации. И гигантский обод ближайшего диска поднимался навстречу.

Двояковыпуклая линза трехметрового диаметра. Лупа. Стекло, выпавшее из очков великана. Прозрачная перегородка исчезла, рассыпалась облачками медленно меркнущих цветных искр; он рванулся сквозь.

Линза опрокинулась ему под ноги — и вдруг обернулась миской, гигантской стеклянной миской, полной клубящегося зеленоватого тумана... И он положил в этот туман прекрасную инопланетянку и бросился сам — как в воду, нырнул в теплое, плотное, упругое, затопившее с головой... А потом были только огненные пятна в глазах, мгновенное головокружение и мгновенная невесомость, — а еще потом он лежал ничком в светящейся зеленой пене, а за прозрачной броней остался только космический мрак с яркими немигающими звездами.

И он увидел Землю — сбоку. Снежные завитки циклонов, коричневое, зеленое и голубое; а вот Земля уже внизу, Земля заваливается...

А потом все вдруг осветилось. Черное небо стало сплошным клубящимся пламенем — и он зажмурился, нырнув лицом в теплое желе... ведь даже герои не могут смотреть в эпицентр атомного взрыва. А когда приподнялся-таки и, размазывая слезы, увидел тьму — решил, что ослеп.

Мир проявлялся медленно — зеленоватое свечение внутри диска, и укутанный в голубое сияние бок планеты — близко, гораздо ближе... а сзади и вверху, там, где только что удалялась угловатая махина звездолета, еще мерцали вспышки, и какие-то горящие обломки распадались на лету.

...И она была рядом. Лежала навзничь, щекой в зеленоватой массе — тусклые, будто под водой, блики дрожали на шоколадной коже. Глаза ее были закрыты.

Он полз к ней, выдираясь из теплого и вязкого, задевая головой прозрачный потолок; он понятия не имел, в каких пределах может колебаться температура

ее тела, и должен ли у нее быть пульс, и где его искать... Он шарил ладонью по ее лицу, и оно оставалось неподвижным.

— Эй, — позвал он.

Но она молчала. И тогда он закричал; он кричал, путая слова, и в конце концов перешел на русский. Тебя у нас обязательно вылечат, кричал он. Ты не поверишь, какая у нас медицина. Ты не думай, мы вам еще поможем, если уж у вас такие проблемы, раз у вас звезда гаснет... или все-таки взрывается?.. Он, хоть и был еще и великолепным лингвистом, так и не понял, что там у них со звездой, — половина звуков их языка оказалась неслышима для человеческого уха, не говоря уж о воспроизведении человеческим речевым аппаратом. В конце концов пленника признали бесполезным и собрались выкинуть в космос. И вот тут-то она и вмешалась — недаром она все эти недели не сводила с него глаз... как не сводила бы на ее месте любая женщина Земли.

— Не умирай, — попросил он, охрипнув. — Пожалуйста.

...И ресницы дрогнули, задевая его ладонь. Он вскочил, отдернув руку, — и снова ударился головой о потолок. Она смотрела на него — глаза ее то становились прозрачными, то заливались чернотой; она улыбнулась. Робко. Растерянно. И, подняв руку, в свою очередь коснулась его щеки.

На ее лицо снова упали огненные блики — диск вошел в атмосферу.

...Мальчик фантазировал, лежа на диване. Ему было уже почти одиннадцать лет; не то, чтобы он собирался в космонавты... Мода на эту профессию давно прошла;

в общественном мнении нищей страны космонавтика — дорогостоящая придурь. А месяцами болтаться в железной кастрюле на орбите — ради чего? — сомнительная романтика...

Но «звездными операми» при этом были завалены все книжные прилавки, и разномастные звездолеты бороздили просторы телеэкранов. И мальчик мечтал.

...Так было еще в августе. А в сентябре началась война.

2. ...и практика

...Он шел. Хрустело под ногами битое стекло, трещал битый кирпич; коридоры и рекреации, серые стены в пузырях отставшей краски и вздутая, в желтых потеках побелка, груды сорванной с пола плитки и выломанные оконные рамы, и сорванные двери — на одну он наступил, и трухлявый оргалит провалился под ногой...

...Шел. Вернее, тащился, сгибаясь под тяжестью и морщась от боли в стертых пятках. Ботинки, давеча снятые с убитого снайпера, были велики размера на два.

Чуть не впервые в жизни он так ясно ощутил себя сопляком. Мелким. Тощим. Злым, но хилым. Он кусал губы и ругался матом — вслух, громко, но уверенности в себе это не добавляло.

...На самом деле ему четырнадцать. Он невысок даже для своего возраста; он попробовал поднять ее на руки — и не смог. У него не хватило бы сил взвалить ее на плечо — да и плечико-то цыплячье, чего

там... Он тащил ее на спине, держа за руки — носки ее ботинок чертили по полу, голова перекатывалась на его плече — и текущая изо рта кровь промочила его футболку.

Теплое. Липкое. Мерзкое. Мокрая футболка, липнущая к спине; запах крови. Он понимал, что так не носят раненых, — но что же он мог поделать?!

...Он не знал ее имени. Он впервые увидел ее утром на инструктаже; за полтора часа тряской дороги в старом армейском «газике» она не удосужилась сказать: «Давай познакомимся». Мальчишка был придан ей в качестве вспомогательного элемента, и она отнеслась к нему пренебрежительно. И зря, потому что — дура, дура, а еще выпендривалась! — сама же впопыхах не заметила проволочной растяжки в сухой траве бывшей школьной клумбы. (Откуда взялась эта растяжка? Кто поставил? Когда? Против кого? Черт знает.)

Она успела отскочить. И отшвырнуть его, и рухнуть рядом. Грянуло так, словно рушился мир, ударило горячим ветром; его катило по земле, и, сжимая в руках пучки вырванной травы, он закричал — не слыша себя в вое и свисте пролетающей над головой смерти.

...Потом он полз на четвереньках, хватаясь за траву — ему еще казалось, что все вокруг качается; среди вывороченной земли и обломков бетонного бордюра она лежала скорчившись, зажимая живот руками, и струйки крови — темные, густые, неторопливые — текли по пальцам.

Он истратил на нее все бинты из аптечки; довел ее (тогда она еще могла кое-как идти) до места — до бывшего спортзала, полуподвального помещения, взрыв в

котором должен был, по их расчетам, обрушить сразу все здание. Поставил рядом сумку с бомбой. И сидел, дожидаясь, тупо наблюдая — приподнявшись на локтях, она возилась, соединяя цветные проводки, настраивая таймер. Все чаще опускала голову на руки — но снова приподнималась, закусив белеющую губу, и продолжала; а потом не смогла подняться — поерзав по полу локтями, хрипло потребовала: «Помоги». И дальше он держал ее под мышки...

Она отключилась без единого звука, и он, не догадавшийся прихватить из аптечки нашатырь, еле растолкал ее — чтобы услышать короткое: «Все».

А больше не было ни слова.

...Он брел, шатаясь, ругаясь сквозь злые слезы, — а слезы текли. Шатался, надрываясь, хватая ртом воздух. Сквозь проломы огромных окон солнце простреливало здание насквозь; в ушах звенело. Да она больше меня весит, эта дылда... Бросить, она все равно уже мертвая... Да не допру я, и все тут... не успею, сейчас рванет — все рухнет... задавит, похоронит под развалинами...

Ему было страшно. Очень страшно. Очень.

...Груды битого кафеля. Расколотая поперек черная табличка с надписью «Каб. 22. Химия». От толчков сердца перехватывало горло. Бежать, бросить, бежать... Ну что это, ну чего все я... я еще маленький, чего я-то...

Он оглянулся — воровато. Вот там, среди солнечных квадратов и мельтешащей в лучах пыли, рванет — и, выбитые взрывной волной, рухнут стены, промчится огненный шквал... потолок провалится...

...Бежать.

...Брел. И пульс в висках отсчитывал секунды, и толчки собственной крови казались тиканьем часового механизма. На плече болтались оба автомата — били по боку.

Он выбрался на крыльцо — по разбитым бетонным ступенькам, отшвырнув ногой сорванную школьную вывеску со слинявшими буквами. Всхлипывая и ругаясь, перешагивал через трупы. Трое; один, задравший к небу курчавую окровавленную бороду, — в камуфляжных штанах, двое — в бедуинском тряпье. Вон тот, в чалме, перед смертью успел вскинуть автомат и что-то выкрикнуть по-арабски...

Этих троих они срезали очередью из машины. Разведчики; через несколько часов сюда подтянутся их основные силы — это здание на холме стало бы для них и наблюдательным пунктом, и огневой точкой, и прикрытием... На этой земле у вас не будет укрытий.

Он распахнул дверцу «газика» — обжег руку о раскаленную солнцем железную ручку. Пригнулся, наклоняясь набок, втискиваясь внутрь, в густой жар разогретого железного ящика; подставил руки, принимая съезжающее тело. Она ударилась затылком о пол салона, но не охнула. От ворота до ног камуфляж на ней почернел, напитавшись кровью; зрачки разлились во всю радужку, и струйка крови изо рта стекала на грязный пол.

Он смотрел — на прыщеватый лоб, и преждевременную «гусиную лапку» под глазом, и жиденькую темную косу; на свою руку под ее шеей — тощую, исцарапанную, с грязью под ногтями... Ему предстоит влезть

на водительское место и уводить машину — здесь сейчас с неба повалятся камни и разверзнется огненный ад. Ему... а он...

— Не умирай, — попросил он шепотом. — Только не умирай. Я же ничего не умею... как же я?..

...На водительское место; машину кидало на колдобинах бывшей дороги, а он крутил горячую от солнца «баранку» и не оглядывался. И даже в зеркальце заднего вида старался не смотреть — не смотреть в невзрачное, простенькое, прыщавенькое, еще сегодня утром незнакомое лицо. И говорил — чтобы не думать. О себе, об этой школе, в которой не проучился и пяти лет, потому что началась война... об отце, о бомбежках, об вспышке холеры в лагере беженцев... Собственный голос слышался будто со стороны — тонкий, визгливо-жалобный, срывающийся на всхлипах:

— ...А я, блядь, прикинь, не поверишь, родился в день, когда в Америке грохнули небоскребы. Прикинь, дата?.. А тогда же, блядь, никто не врубился, что — вот, все, началось... что мы — следующие... (Дорога расплывалась в слезах — грязным кулаком вытер глаза. Длинно втянул носом.) А я в школе хотел быть космонавтом. Типа, блядь, космос, открытия... звездная принцесса там... Ни в жизнь не думал, что буду партизаном. Чтоб на своей земле дома жечь, чтоб не достались врагу...

Позади наконец ударило — глухо и раскатисто; содрогнулась земля. Машину подбросило, он ударился макушкой о потолок и прикусил язык. И все-таки не выдержал — оглянулся.

Она лежала. Ее тоже подбрасывало, голова ее билась об пол, но лицо оставалось неподвижным — и струйка изо рта потемнела и загустела, засыхая.

Под днищем загремели камни. На ее лице прыгали тени; густо пахло кровью.

— Эй, — позвал он.

Но она молчала. И тогда он сорвался и закричал — плачущим детским голосом. Глядя на дорогу, на прыгающую под колесами растрескавшуюся глину с резкими черными тенями, одной рукой вцепившись в руль, а другой размазывая слезы, бормотал, захлебываясь:

— Не умирай, слышишь, я тебя довезу, тебя вылечат, ну потерпи, только не умирай...

Машина снова подпрыгнула, выскочив с проселочной дороги на бывшее шоссе. Теперь можно было гнать — сорок километров до базы.

...И дым очередного пожара потянулся в небо над бывшим городом Москвой.

25 сентября 2001 г.,
20 февраля 2002 г.,
5 декабря 2002 г.

Содержание